Русский разговор

Рассказ

Дмитрий ТАРАСОВ
г. Санкт-Петербург

1

Долгая дорога, скука, слишком близкое соседство в купе... Собственно, объяснять не нужно, почему в поезде незнакомые люди настолько легко вступают в разговор, даже, бывает, такое скажут, в чем и сами себе никогда не признавались. Другое дело — самолет. Едва занял место, как начинается: судорожный взлет, тело буквально влипает в кресло, руки до боли сжимают поручни, закладывает уши, а земля, между тем, с такой бешеной скоростью уходит вниз, что в иллюминатор смотреть страшно. Да, еще дети орут на весь салон. Когда же самолет набирает крейсерскую высоту, все сидят в предчувствии того, что пережитый ужас вскоре вернется, только в обратной последовательности при посадке в каком-нибудь Франкфурте-на-Майне или Ростове-на-Дону. Про себя молятся, а вслух просят у стюардессы кто воды, кто сока, кто чего-нибудь покрепче. Какие уж тут разговоры, какие откровения?..

Так думал, сидя в «Боинге», летящем из Москвы в Петербург, Никита Андреевич Терехов. К его мыслям примешивалось постоянное беспокойство за картину неизвестного мастера, которая находилась где-то внизу, в багажном отделении самолета. Сворачивать полотно в рулон, предварительно разобрав раму, и запихивать его в тубус, для коллекционера живописи, коим был Никита Андреевич, представлялось кощунством. Самым надежным было выкупить еще одно место по соседству и поставить картину туда. Однако ее размеры — почти метр на метр — превышали разрешенные для ручной клади. Именно поэтому Достоевский, написанный при жизни писателя, о чем имелось соответствующее

подтверждение экспертов, находился сейчас в деревянном ящике, выложенном изнутри гофрированной бумагой, среди всяких сумок, чемоданов и рюкзаков.

Словно позабыв о правилах перевозки, Никита Андреевич то и дело с враждебностью косился на соседа справа, ведь вместо него могла быть одна из лучших картин его коллекции. Сосед, мужчина лет семидесяти, выглядел весьма представительно: седовласый, с благородными чертами лица, холеными руками, на левой из которых красовались дорогущие швейцарские часы фирмы «Rolex». Он читал иллюстрированный журнал, какие авиакомпании всегда подсовывают пассажирам на спинку переднего сиденья. Оттого, что он выбрал интервью Путина австрийским журналистам, неприязнь Никиты Андреевича к соседу только увеличилась. Будучи русским либералом, он всегда был против власти, даже если она сначала делала одно, а потом, изменив позицию, прямо противоположное. Не годилось ни то, ни другое.

Чуть усмирив свой политический пыл, Никита Андреевич задумался о том, что и сам мог бы прочитать это интервью с той единственной целью, чтобы лучше понимать тактику режима. Тогда, может, и у соседа такие же намерения? Во всяком случае внешне он совершенно не похож на тех нищебродов, что идут вслед за узурпировавшим власть президентом...

— Извините, — деликатным тоном начал он, — вы интересуетесь политикой?

— Интересуюсь, скорее, здравым смыслом, — после небольшой паузы, видимо, дочитав предложение, ответил сосед.

И хотя по-русски он говорил свободно, все-таки акцент был сразу заметен, и этого оказалось вполне достаточно, чтобы Никита Андреевич признал в попутчике близкого по взглядам человека.

— Да, — он кивнул в сторону журнала, — здесь здравым смыслом и не пахнет. Сколько уже лет он у власти?

— А сколько была, допустим, Ангела Меркель? — ответил вопросом на вопрос сосед.

Несмотря на то что ожидаемого понимания он не нашел, это нисколько не повлияло на Никиту Андреевича. И он продолжил в том же обличительном духе:

— У них все не так. Вот, к примеру, мой багаж оказался чуть больше, чем нужно. Так его в общее отделение без всяких разговоров!

— И у нас сделали бы то же самое.

— У вас — это у кого? — быстро уточнил Никита Андреевич.

— Я живу во Франции, хотя сам русский, потомок эмигрантов. Павел Дмитриевич Белозеров, — представился он, на что коллекционер не замедлил отрекомендоваться по форме и зачем-то добавил: — Сейчас лечу в Петербург.

Павел Дмитриевич улыбнулся такой чрезмерной подробности и сказал:

— Я тоже. И, признаться, волнуюсь... Знаете, где бы ни жил, а судьба забрасывала в разные страны, никогда не забывал, что родная земля здесь. Речь не о пресловутых березках... Просто чувствуешь как данность, как то, что с рождения с тобою...

— А с какой целью летите? — полюбопытствовал Никита Андреевич.

— Не столько важна цель, хотя она, безусловно, есть, сколько желание увидеть город, где жили предки. Точно знаю, что сохранился наш родовой дом...

— Будете на него претендовать, — догадался Никита Андреевич.

— И в мыслях такого не держал, — без интереса и коротко ответил Павел Дмитриевич.

— Я вас прекрасно понимаю. В этой стране вернуть частную собственность — занятие безнадежное, только время зря потратите. Хамы и чиновники, что, впрочем, одно и то же, захватили власть на местах. А на самом верху — бывшие кагэбэшники, хотя их бывших не бывает. И вот главный, — он показал на фотографию президента в журнале.

Поскольку никакой реакции не последовало, если не считать за таковую, что русский «из бывших» снова погрузился в чтение, — Никита Андреевич замолчал. Однако сидеть молча рядом с такой редкой в наших краях птицей ему было не по силам.

— Извините за настойчивость, вы уже решили, где остановитесь?

— Снял номер в отеле «Коринтия» на Невском. Пока на месяц, но, вполне возможно, и задержусь, смотря по тому, как дела пойдут.

— А я буду, как выражались прежде, квартировать у родственников. Прекрасные люди, вдобавок живут в центре города, как раз недалеко от Русского музея, — он запнулся, понимая, что сейчас может сказать лишнее, и торопливо продолжил, чтобы поскорее забылось едва не соскочившее с языка: — Если у вас какая-нибудь заминка с жильем произойдет, знаете, всякое бывает, тогда милости прошу ко мне. И я очень рад буду, и родственники, поверьте, с удовольствием вас примут. Чудные люди!

Насчет «чудных людей» он явно преувеличил, потому что, будучи у них всего один раз, да и то давным-давно, знал своего дядю и его жену совсем плохо. Единственно помнил, что Егор Валентинович был в свое время известным инженером, строил подводные лодки, а Клара, как она просила к ней обращаться, была много моложе мужа и прекрасно готовила, особенно выпечку. Других подробностей об этих людях у него не сохранилось...

Едва Павел Дмитриевич, поблагодарив за предложение, вежливо отказался, как «Боинг» сперва ухнул вниз, а затем его закачало из стороны в сторону, так что собеседники не по своей воле буквально бросились в объятия друг к другу. Тут же объявили, чтобы пассажиры пристегнули ремни, поскольку самолет попал в зону турбулентности.

— Сколько летаю, всегда слышу: турбулентность, турбулентность, — со смешком сказал Никита Андреевич. — Что это за штука такая?

Павел Дмитриевич так же шутливо ответил:

— Думаю, и сам пилот не знает. Просто привык повторять, из-за чего смысл слова и выветрился.

Эта «турбулентность» как-то раскрепостила обоих. Один отложил журнал, а другой, чтобы с его немаленьким брюшком было удобнее общаться, расстегнул ремень, плюнув на строгие правила.

— Вот это по-нашему, по-русски, — оценил Павел Дмитриевич.

И потом, о чем бы они ни говорили, как бы неправильно с точки зрения противника власти ни высказывался новый знакомый, Никита Андреевич только и делал, что соглашался и поддакивал. Им овладело то очарование, какое овладевает русским, необязательно либералом, но прежде всего им, когда он встречает иностранца и на глазах глупеет, и без конца улыбается, и даже как будто делается меньше ростом. При всем том ему не терпелось рассказать, что он коллекционер картин, что одну из них сейчас везет на выставку в Русский музей и что его собрание насчитывает десятки и десятки предметов. Не терпелось потому, чтобы, в отличие от всех прочих дремучих соотечественников, встать как бы на одну ступеньку с человеком, приехавшим с Запада. Лишь стойкая привычка коллекционера — не болтать лишнего, тем более первому встречному — останавливала его от необдуманных действий...

Приземлились удачно, как принято, под аплодисменты экипажу. Уже стемнело, и Никита Андреевич, опасаясь за состояние картины, пытался рассмотреть, какая погода в этом дождливом северном городе. Одновременно ему не хотелось потерять из виду Павла Дмитриевича, знакомство с которым могло быть в равной мере приятным и полезным. Однако же, оказавшись в огромном зале с вертушками для выдачи багажа, он упустил его среди мелькания лиц, чемоданов, гула разноязыких голосов.

Не переставая, он ругал себя за то, что не взял визитку или не дал свою, когда чей-то ребенок врезался в него, кто-то возле самого уха громко крикнул, а главное, уже ехал по медлительной резиновой ленте фанерный ящик, внутри которого лежал сам Федор Михайлович Достоевский.

2

— Что-то на Достоевского он совсем не похож.

И хотя сказано было вполголоса и вдалеке, где две сотрудницы музея рассматривали портрет, положив его на широкий стол, — в хранилище стояла такая мертвая тишина, что Никита Андреевич расслышал. Казалось бы, он давно перестал обижаться на подобное, пройдя уйму разных инстанций и экспертиз, частных и государственных, — однако же опять сделалось неприятно...

Русский музей всегда представлялся ему чем-то недосягаемым, и люди, как он думал, работали здесь особенные, которые на глаз могли определить и век, и школу, и имя мастера. А недосягаемым музей казался потому, что он уже несколько раз посылал заявки на выставки, когда те предполагали участие предметов из частных собраний, но неизменно получал отказ. Теперь же, к его удивлению и радости, из Петербурга пришло письмо, где черным по белому было написано, что портрет Достоевского им подходит. И тут вдруг — «совсем не похож»... Да разве могут специалисты так говорить? Это только дилетантам простительно: нос прямо вылитый, а вот глаза не те, да и уши какие-то оттопыренные...

Между тем женщины продолжали обсуждать портрет писателя:

— Антонина Петровна, вы разве не видели фотографий Достоевского? Их сохранилось довольно много, и везде он выглядит поразному.

— Моя профессия — оценивать живопись, — возразила Антонина Петровна.

— Знаете, иногда очень полезно смотреть и на фото, — высказала свою позицию собеседница. — Разительное отличие между Федором Михайловичем до каторги и после возвращения в Петербург моментально бросается в глаза. Другой человек, с другим мировоззрением, и эта перемена в нем и на портретах сразу же заметна. Ах, каким его изобразил Перов! — неожиданно закончила она.

— Вы, Ксения Константиновна, сравниваете несравнимое: Перова вот с этим...

Никита Андреевич понятия не имел, кто они такие, Антонина Петровна с Ксенией Константиновной, — но не уборщицы же в конце-то концов, чтобы так рассуждать? Наверняка из рода «гомо советикус», их особенно много осталось во всяких архивах и хранилищах. Сидят в этом советском заповеднике десятилетиями, тут и состарились. Откуда у них взяться современному взгляду на искусство, когда вся жизнь прошла под знаком «социалистического реализма»?

Он ждал главного хранителя музея, о котором ему было известно лишь то, что это мужчина. Скорее всего, такой же старый козел, как эти козлихи, с таким же замшелым представлением о живописи, — так думал Никита Андреевич, то и дело посматривая на беседующих «искусствоведов».

Оказалось, однако, совсем иначе. Даже то, как он представился — Олег, без отчества, — приятно удивило. Да и лет ему было не больше сорока — молодой, подтянутый, энергичный. Сразу видно, новое поколение, лишенное былых предрассудков и не сдувающее пыль с портретов какого-нибудь Налбандяна или Исаака Бродского.

Они быстро, что тоже подчеркивало его «западный» подход к делу, подписали акт приемки художественной работы на временное хранение. Бюрократическая бумага, будто ее составляли в полиции, содержала в себе наименование и краткое описание предмета, его размеры, материал, из которого он изготовлен, имеющиеся клейма и надписи, степень сохранности и способ монтировки. В довершение всего предмету присваивался шифр и учетное обозначение.

Покончив с формальной частью и вопреки обычной практике, Олег поинтересовался:

— Я всегда спрашиваю тех, кто участвует в выставке: почему именно эта работа? Да, есть точные сведения, указанные в акте, но они сухие, даты и цифры. А мне интересно знать личное отношение коллекционера к представленному предмету.

Никита Андреевич подобного вопроса не ожидал и, прежде чем ответить, долго почесывал под подбородком и беззвучно шевелил губами.

— Портрет написан в 1845 году, — начал он с некоторым волнением, — это как раз то время, когда после романа «Бедные люди» Достоевский входил в либеральный кружок Белинского, посещал «пятницы» у революционно настроенного Петрашевского и еще был весьма далек от славянофилов. Больше всего мне дорого, что художник, пусть и без особого мастерства, изобразил писателя именно в тот период его духовного состояния. Признаюсь честно, Достоевский-патриот, каким он стал, вернувшись из «солдат», мне, мягко говоря, не близок.

— Значит, будь у вас портрет писателя, допустим, 70-х годов, вы бы его на выставку не представили? — спросил хранитель и посмотрел ему прямо в глаза.

Как ответить, коллекционер не знал. С одной стороны, воспринятая поздним Достоевским от графа Уварова официальная идеология — православие, самодержавие, народность — была Никите Андреевичу чужда, а с другой — выставить работу из своего собрания в Петербурге было более чем престижно. И еще добавлялось сюда нежелание ссориться с музеем.

Взвесив все соображения, он сказал:

— В любом случае я бы представил работу. Ведь живопись в первую очередь искусство изобразительное, куда не следует мешать политику...

Напоследок он проследил, как его полотно убрали в металлический выдвижной механизм. Одна из теток, то ли Антонина Петровна, то ли Ксения Константиновна, заверила, что они самым тщательным образом соблюдают температурно-влажностный режим и потому культурным ценностям ничего не угрожает. Пока она своим тихим архивным голосом все это сообщала, он успел заметить, что Достоевский расположился ровно напротив графической работы с изображением Тургенева, и подумал о том, что судьба, как и при жизни писателей, продолжает сталкивать их лбами, будто задавшись какой-то неведомой целью.

Выйдя из хранилища, он специально прошел через выставочный зал, где рабочие монтировали стенды, а один из них, забравшись под потолок, вешал какую-то звездообразную конструкцию. Готовилась экспозиция, показывающая весь пантеон русской литературы, причем размах был куда шире, чем только Русский музей и Третьяковка. Из музеев и музейчиков, из частных коллекций со всей страны, из-за границы собиралось все, достойное залов Михайловского дворца. Никите Андреевичу подумалось, что этак одних Достоевских наберется с дюжину, а, скажем, Пушкиных и того больше. Опять, как всегда в России, гигантомания, лишь бы пыль в глаза пустить. Одна кажимость, как говаривал Федор Михайлович. Вот в Берлине, где он тоже выставлялся с миниатюрой раннего Репина, арт-пространство было небольшое, зато сколько вкуса, изящества, чувства меры. Нашим кураторам до таких высот тянуться и тянуться. И все равно без толку. Потому что менталитет не тот, а именно — какая-то помесь европейского с азиатским.

Уже на площади перед музеем, будто в подтверждение его мыслей, мимо прошла шумная группа гастарбайтеров из Средней Азии, которые о чем-то эмоционально разговаривали на своем языке.

3

Сначала они долго присматривались друг к другу. Все-таки один был написан в молодые годы далеко не лучшим мастером кисти, а другого уже пожилым изобразила оперная певица Полина Виардо. Первым подал голос Тургенев, который всегда был любезнее и общительнее коллеги.

— Милостивый государь, после стольких лет разлуки вас ли я имею честь видеть?

Своим слегка сиплым от природы голосом Достоевский пробурчал что-то, по-видимому, не желая признавать человека, знакомство с которым насчитывало без малого два столетия. Впрочем, при виде Тургенева он долго молчать не мог, уж больно тот раздражал его своим генеральством и якобы дружескими, а на самом деле лживыми манерами.

— Вы, Иван Сергеевич, ни капельки не изменились. Это оттого, наверное, что немцы изобрели какое-нибудь чудодейственное средство от старости.

— Ничего подобного пока не изобрели, но если изобретут, то непременно немцы.

— Вы по-прежнему германофил, — убежденно сказал Достоевский. — И все русское принижаете, пожалуй, что и презираете, да и сами себя давно уже в немцы произвели.

— Мое убеждение таково, что, когда бы взяли мы за образец Германию, тогда и нас остальные стали бы брать за образец.

— Что же вы нашли в этих бюргерах? Трудолюбие и честность? Пожив там изрядно, я повидал столько мошенников, сколько у нас даже на самом дне не встретишь.

Зная, что Достоевский вспыхивает как спичка, едва дело доходит до «русской темы», Тургенев любил его подначивать. Ему нравилось, когда тот горячится и начинает всех поучать, как будто лишь ему одному открыта истина. Со стороны он выглядел весьма забавно. В таком состоянии, однако, он легко мог оскорбить собеседника и даже не заметить. В этом, безусловно, была опасность, ибо, будучи дворянином, Иван Сергеевич Тургенев сносить оскорбления не имел права. При всем том они были признанными писателями и почитали талант друг друга. Бывали ссоры, случалось, что годами не общались, но до серьезного, а что может быть серьезнее дуэльных пистолетов, дело никогда не доходило. А вот у Тургенева со Львом Николаевичем Толстым едва не дошло, и Достоевский, как и весь писательский круг, прекрасно знал об этом. Тогда, будучи в имении Фета, Тургенев за завтраком сообщил, что его дочь под присмотром английской гувернантки занимается благотворительностью, а именно штопает худую одежду беднякам, на что Толстой заметил, что девушка играет неискреннюю, театральную сцену. Слово за слово, и взбешенный Тургенев высказался в том духе, что он заставит замолчать Толстого оскорблением, после чего выбежал из комнаты. Потом были письма, отправленные не по адресу либо доходившие до Толстого с опозданием, что он расценил как то самое оскорбление, о котором говорил Тургенев у Фета, и вызвал его на дуэль. В конце концов Лев Николаевич все-таки получил письмо с извинениями, правда, очень сухими и колкими, но отношения между писателями прекратились на долгие годы...

Теперь, не помня себя от гнева на этого атеиста и западника, Достоевский выкрикнул:

— Вы меня боитесь, а я вас презираю и никогда дела с вами иметь не хочу.

Это был ничем не прикрытый намек на ссору Льва Николаевича с Иваном Сергеевичем, потому что Достоевский повторил известные слова из письма Толстого. Только произнеся их, он подумал, насколько тем самым унизил честь собеседника. Кругом было темно, как полагается в хранилище картин, поскольку дневной свет для них губителен, и он не мог различить, изменилось ли выражение лица Тургенева. Но наверняка изменилось, наверняка на щеках по обыкновению появились красные пятна, и ему сделалось невыносимо стыдно.

Когда Тургенев, поначалу задохнувшись от бешенства, пришел в себя, то обрушился с сокрушительной речью, не забыв ни образ писателя Кармазинова из «Бесов», по существу, карикатуру на себя, ни продолжительную «холерную колику» от романа «Преступление и наказание», ни телескоп, который однажды Федор Михайлович посоветовал ему приобрести, чтоб из-за границы рассматривать Россию. Словом, говорил он долго и, кажется, не прошел мимо ни единого факта, где бы Достоевский, по его мнению, так или иначе его не задел.

Федор Михайлович слушал с полнейшим смирением и только внутренне повторял: «Вот так тебе и надо, по заслугам, терпи, милостивый государь». Ведь и вправду, упоминание в споре третьего лица в свою пользу, пусть этим лицом и был сам Толстой, нарушало правила и скорее подошло бы торговцу, затей он склоку с конкурентом или покупателем...

Неожиданно послышались звуки шагов, достигавшие самых дальних уголков этого

огромного помещения, после чего под потолком рядами стали зажигаться лампы, и вскоре бледный свет, какой здесь только и был возможен, добрался и до писателей. Они сразу смолкли, напряженно прислушиваясь. Кто-то невидимый выкатывал металлические конструкции на колесиках, где хранились картины, пока, найдя нужную, не удалился, погасив свет.

— Прошу простить меня великодушно, — шепотом, потому что все кругом погрузилось в потемки, произнес Федор Михайлович. — С моей стороны было весьма постыдно упоминать о случившемся между вами и Львом Николаевичем в разговоре, который касался не личных отношений, а вопросов принципиальных. Причина тому, как вам известно, моя вспыльчивость, никак не связанная с желанием вас обидеть.

В таких случаях Тургенев поступал одинаково: долго молчал, словно бы подбирая слова, а на самом деле заставляя извинившегося томиться в ожидании. Наконец он сказал:

— Несмотря на возникшее недоразумение, вызванное только вашим скверным характером, я остаюсь самого высокого мнения о дарованном вам литературном таланте и прежде всего поэтому протягиваю руку для примирения.

Если б не расстояние, разделявшее их, подумал Достоевский, он сейчас же, по своему обыкновению, бросился бы в объятия, а потом целоваться, но подставляя лишь свою щеку. Впрочем, его человеческое не столь важно в сравнении с его унизительными для меня, как и для всякого русского, убеждениями. Тут, уверен, одно самолюбие, и это потому и пакостно.

— Голубчик Федор Михайлович, — прервал его размышления Тургенев, — время уже позднее. Не пора ли нам закончить беседу, как говаривали в XVIII веке, ради погружения в царство бога Морфея.

Достоевский был не против, хотя спать вовсе не хотел.

— А знаете, — перед самым сном сказал Иван Сергеевич тихим голосом, — мы с вами продолжаем спорить точь-в-точь так, как бывало спорили прежде, и на те же темы, и теми же словами... Или вы уже почивать изволите?

Федор Михайлович замер, прикрыв глаза, зная, что в таком положении самые хорошие мысли как раз и приходят. И сейчас раздумывал о том, что произнесенное Тургеневым «точь-в-точь» очень верно и что лучше бы тот был не прав. Ведь тогда получается совсем безысходно: сколько поколений сменилось, сколько писательских и иных дум тратилось и тратится, сколько стран появилось и исчезло, сколько крови пролилось, — а воз и ныне там. Точно гора, стоит Россия, ни туда ни сюда, ни на Восток, ни на Запад, а сама по себе, что было бы вернее всего, почему-то не может. Вот только почему? Или час еще не пробил?..

4

Если смотреть на Невский проспект с высоты шестого этажа, то все, что виделось большим, шумным, летящим, теперь кажется декорацией кукольного театра. А сами куклы — вот они, снуют по тротуару без остановки, надо думать, в ожидании режиссера, который расставит их так, как требуется для начала спектакля. Наверняка и режиссер где-то поблизости, спешит туда, где тысячи ниточек и веревочек вмиг превратят хаос в порядок. Может, управляет куклами тот господин в шляпе и длиннополом черном пальто, а может, молодой человек с длинными волосами, который на ходу то и дело кидает за плечо конец шарфа, обмотанного вокруг шеи, но тот упорно падает вниз...

Отогнав от себя абстрактные мысли, Павел Дмитриевич вернулся взглядом к белоколонному портику здания напротив. Сейчас здесь располагался Дом актера, а в былые времена это был один из многочисленных дворцов князей Юсуповых.

По семейной легенде, прадед и прабабка Павла Дмитриевича познакомились именно тут. С убежденностью всякой легенды она описывала литературный вечер, где якобы читал сам Лев Николаевич Толстой. Однако

автор книги, на которую Павел Дмитриевич случайно наткнулся в Париже и которая была посвящена истории его дворянского рода, утверждал, что знакомство произошло на выставке художников-передвижников. Только где проходила эта выставка? Ведь, насколько знал Павел Дмитриевич, дворец Юсуповых был в равной мере открыт и для художников, и для писателей, и для музыкантов. Чтобы прояснить эту ситуацию, а также многие другие, он связался с издательством и узнал телефон автора книги. Им оказался пожилой историк Пухов из Петербурга, который согласился ответить на все вопросы при личной встрече. Также он обещал показать свой архив, где были связанные с предками Павла Дмитриевича документы и фотографии, не вошедшие в издание.

Сразу после завтрака в отеле Павел Дмитриевич позвонил автору, но его номер оказался заблокирован. Ничего страшного в этом не было, потому что в издательстве дали и адрес историка.

Он нарочно не стал брать такси, поскольку считал, что изучать город из окна машины ничуть не лучше, чем рассматривать открытки с его видами. Следуя проложенному навигатором маршруту и все же немного поплутав среди кривых улочек Петроградской стороны, он нашел узкий, всего в пять окон дом в стиле «модерн», поднялся на третий этаж, позвонил в деревянную, изъеденную временем дверь.

— Здравствуйте. Я хотел бы видеть Николая Игнатьевича Пухова.

Перед ним стояла женщина лет сорока в заношенном халате, с веником в руке и тяжелым взглядом, являя собой расхожий образ злой хозяйки.

— Вы можете увидеть его на Серафимовском кладбище.

— Что он там делает? — от неожиданности Павел Дмитриевич задал не самый умный вопрос.

— В земле лежит, — ответила она, как ему показалось, с ноткой черного юмора.

— Примите мои соболезнования...

Заметив, что принять соболезнования она собирается, захлопнув перед ним дверь, он поспешил объяснить, с какой целью пришел, и, конечно же, сказал об архиве Николая Игнатьевича. Враждебным тоном, который никак не вязался с темой их разговора, она заявила, что никакого архива нет и никогда не было, а после все-таки захлопнула дверь.

Так и не поняв, кем приходится эта женщина историку, Павел Дмитриевич понял другое: заходить сюда и общаться с нею так же бессмысленно, как биться головой о стену. Он вышел на улицу, постоял в раздумье, затем вынул телефон, где был записан адрес Игоря, ученика Николая Игнатьевича. Возможно, теперь его архив там, что много лучше, подумалось ему, для собранных ученым материалов.

Навигатор показал, что Игорь живет неподалеку, минутах в десяти ходьбы. На этот раз дом был без всяких архитектурных изысков и, что сразу бросалось в глаза, без всякого ремонта. В парадной сильно воняло вместе и кислым и сладким, однако терпеть эти запахи пришлось недолго, ибо квартира находилась на первом этаже.

Открывшая дверь старушка поразила его не столько интеллигентным видом, хотя, после встречи с той фурией на квартире историка, он ожидал чего угодно, сколько литературной русской речью, ее размеренностью и еще тем, что в свои немолодые годы она сохранила ясный ум и твердую память.

— Да, Игорь снимал у меня комнату. Лет пять, пожалуй. И жили душа в душу, никаких ссор и претензий. Поэтому для меня было полной неожиданностью, когда он объявил, что съезжает... Опережая ваш интерес, хочу сказать: где его разыскивать, не знаю. Поймите, я не так воспитана, чтобы задавать подобные вопросы начинающему жизнь юноше.

Павел Дмитриевич стоял в растерянности, поскольку теперь оборвалась последняя ниточка, которую он протянул еще из Франции. И в этот момент его собеседница тем же размеренным голосом произнесла:

— Совсем запамятовала, ведь Игорь кое-что забыл, — она на время исчезла за ближайшей

дверью и вернулась со старинной фотографией, наклеенной на твердую картонку. — Вот, если вам удастся его найти, передайте, пожалуйста. От Веры Николаевны скажите.

Павел Дмитриевич не верил своим глазам: на снимке был его родовой дом. С жадностью фотоколлекционера он начал его рассматривать: особняк с широким и далеко выдвинутым вперед ризалитом; по обеим сторонам от него кареты, откуда только что вышли солидные господа во фраках; наверное, съезд какого-то делового общества, потому что нет ни одной женщины...

Разумеется, он и раньше видел изображения особняка: и в книге Пухова их было немало, и в других книгах и альбомах в его парижской квартире. Но так внезапно, в мрачной прихожей, из рук незнакомой старушки...

Когда он сумел оторваться от снимка, то посмотрел на Веру Николаевну блестящим от возбуждения взглядом и быстро произнес: «Сколько я вам должен?» Так было принято в Европе: если получил необходимую тебе вещь, значит, нужно заплатить. Она же привыкла к другим отношениям и европейских правил не знала.

— Не обижайте меня, — сказала Вера Николаевна строго и вдруг еле заметно улыбнулась: — Идите, а то сейчас передумаю и заберу.

Он рассыпался в благодарностях. Выходя из квартиры, споткнулся о порожек и рассмеялся, а на улице что-то радостно шептал, склонившись над фотоснимком.

5

Будучи человеком состоятельным, он мог позволить себе пятизвездочную гостиницу, да еще из лучших. Тем не менее продолжал жить у дяди, где ему совсем не нравилось. Мешала скупость, отчасти врожденная, отчасти усвоенная вместе с профессией. Да, Никита Андреевич смотрел на свое занятие как на профессию, где нужно не только разбираться в искусстве, но и считать каждую копейку. Однажды на зарубежной выставке долговязый немец, известный и очень богатый коллекционер, поделился с ним своим принципом: чем легче отдаешь, тем больше ценных предметов пополняет твое собрание. Высказывание авторитетного коллеги не прижилось в Никите Андреевиче. Он подумал тогда, что, наверно, немец получил суровое воспитание в религиозной семье, потому и выражается как пастор, и в дальнейшем старался к этой мысли, противоречившей его практике, не возвращаться...

Дядя был очень увлечен политикой. Как только вышел на пенсию, так и уселся напротив телевизора. Смотрел исключительно новости и политические ток-шоу, благо на любом телеканале их развелось множество; переключая с одного на другой, можно было целые сутки поглощать информацию, без которой жизнь Егора Валентиновича потеряла бы смысл. Предпочтение он отдавал сюжетам, как ему нравилось выражаться, связанным с внешним контуром. В прошлом строитель подводных лодок, много времени проводивший на военных базах и в морских походах, он люто ненавидел Запад, «пятую колонну» в России и тех псевдокоммунистов, которые развалили великую страну.

— Да будь сейчас Сталин, он бы одних в лагеря, а других к стенке, — голосом флотского офицера гремел Егор Валентинович, поскольку имел привычку комментировать то, что видел на телеэкране. Клара, его жена, либо молчала, занятая хозяйством, либо поддакивала, что было Егору Валентиновичу приятнее, ибо не привык он говорить в пустоту.

— Эти суки совсем обнаглели, летают прямо у наших границ, — подводил Егор Валентинович итог появлению американских бомбардировщиков возле Крыма и переключал канал, где натыкался на украинские события. — Помяни мое слово, скоро натовские ракеты будут под Харьковом. Пять минут лета до Москвы!

Из-за глупого вопроса Клары, например, а сколько до Петербурга, он приходил в ярость:

— Во-первых — Ленинграда! Это «либерасты» в угоду Западу переименовали. А во-вторых — нельзя же быть такой дурой! Какая

тебе разница, на пять минут раньше или позже от города ничего не останется? Да и Эстония у нас под боком, тоже член НАТО.

От продолжения его алармистской речи, которая, чем дальше, тем становилась непонятнее, Клару спасал новый репортаж, на этот раз из Белоруссии, куда тотчас переключалось внимание мужа.

— Поляки с литовцами воду мутят, — резюмировал Егор Валентинович. — Но, если взглянуть глубже, они лишь американские шавки, которые хотят оттяпать себе кусок. По сути же, «пиндосы» нацелены на развал России.

Геополитика такого уровня была неподвластна Кларе, и она замолкала, с восхищением и некоторой опаской глядя на мужа...

Поначалу Никита Андреевич пытался дипломатично возражать. Все его попытки окончились неудачей: против человека с командным голосом и убежденностью подводника, который к тому же был у себя дома, он ничего поделать не мог. Вдобавок ему очень не хотелось стать в глазах дяди «либерастом» с последующим и непременным выдворением из квартиры.

Никита Андреевич уединялся в предоставленной хозяевами отдельной комнате или кубрике, как называл ее и все остальные комнаты бывший морской инженер. Стоявший в углу зомбоящик — определение особенно уместное именно здесь, как с улыбкой думалось Никите Андреевичу — он не включал принципиально. Зато сразу садился за другой зомбоящик, а именно за компьютер, и с головой погружался в чтение любимых сайтов. Тут он отыгрывался за все те слова, возразить на которые в разговоре с дядей попросту не мог. НАТО? Оборонительная организация адекватно отвечает на угрозы России. Украина? Она имеет право бороться со страной-агрессором. Белоруссия? Путинский режим нагло лезет в дела суверенного государства. Вот так вам, Егор Валентинович!

Иногда Никита Андреевич выходил пройтись по улицам, набережным и площадям. Он любил этот город, потому что его наружность больше всего походила на Европу, какая сложилась в его сознании чем-то усредненным между Лондоном, Мюнхеном и Веной. На берегах Невы тоже не было никакой азиатчины за исключением, пожалуй, Спаса на Крови с его луковицами куполов и гирьками над дверями. Но даже здесь жили те, от кого, выражаясь фигурально, пахло ковылем степей и едким конским потом...

На углу Невского и Садовой он увидел перекопанный как попало тротуар, который огораживали деревянные козлы с провисшей между ними веревкой. Чуть дальше его грубо толкнули в плечо и даже не подумали извиниться. Набережная Фонтанки запомнилась перевернутыми урнами с высыпавшимся из них разноцветным мусором. В Михайловском саду он споткнулся о бетонную балку, лежавшую поперек аллеи. Ведя счет этим явственным приметам хаоса, он отчасти и радовался. В совокупности они подтверждали его давнюю теорию: как ни пыжился Петр, а создал город лишь внешне европейский, по существу же населенный людьми, бесконечно далекими от западных ценностей. Единственно Никита Андреевич жалел, что нет рядом человека, который понял бы его и оценил. По этой причине он вел бесконечный диалог сам с собою, попутно недобрым словом, как ура-патриота, поминая дядю, пока перед ним не возникал Михайловский дворец, то есть Русский музей.

Глядя на часы, он некоторое время раздумывал, стоит ли заходить в хранилище. Как там его картина? Насколько быстро и качественно монтируют выставку? В конце концов решал, что час поздний и визит лучше перенести на другой день.

6

Бегали по хранилищу девушки, женщины и даже пожилые дамы. Отчего так, думал Достоевский, ведь и вчера, и позавчера была полнейшая тишина. Те же мысли тревожили и Тургенева. Оба молчали, пока не улеглась

суета с хлопаньем дверей, разлетавшимися по всему помещению голосами и шушуканьем по углам.

— Любезнейший Федор Михайлович, не удивляет ли вас то беспокойство, которым сегодня здесь все охвачены?

— Насколько могу судить, вы удивлены не меньше моего, Иван Сергеевич.

— Интересно было бы узнать, что за причина заставляет их носиться подобно тому, как носятся зайцы во время охоты.

— Я мог бы вам ответить, когда бы сам имел об этом хоть малейшее представление или на худой конец догадку.

За последние дни они наговорились вдоволь. «Былое и думы», — как в шутку, с намеком на годы их литературной молодости, определил Тургенев. Вспомнили, кажется, все эпизоды, из которых сложились их теперешние отношения. В том числе и эпиграмму, написанную на пару Тургеневым и Некрасовым:

Витязь горестной фигуры,
Достоевский, милый пыщ,
На носу литературы
Рдеешь ты, как новый прыщ...

Не обошлось и без случая в Висбадене, где Достоевский, проигравшись в казино, попросил взаймы плевую для богатого Тургенева сумму, на что тот прислал лишь половину. И, разумеется, вернулись к их последней встрече во время пушкинских торжеств 1880 года. Тогда Достоевский назвал выступление собрата по перу заигрыванием с революционной молодежью и в то же время в собственной речи упомянул Лизу Калитину из «Дворянского гнезда» в числе замечательных русских женщин.

Казалось бы, вспомнили да забыли. К чему ворошить прошлое? Тем более сейчас, когда смотрят друг на друга с холстов картин в резных рамах. Однако примирения не вышло. И теперь Федор Михайлович, сперва настроенный оставить все обиды позади, готов был продолжить идейное противостояние, перенеся его в день сегодняшний.

— 1999 год, Югославия, — начал он без предисловий. — Цветущая балканская страна, населенная славянскими народами. Ее утюжили самолеты НАТО в течение трех месяцев, причем без мандата ООН как самые настоящие варвары. Что имеем в результате? Страны нет, южные славяне оторваны друг от друга, равно как и от их единственного заступника — России.

— Вы рассуждаете как панславист, — возразил Тургенев. — Впрочем, вы им всегда и были. Такую последовательность ваших взглядов никак не назовешь хорошей, поскольку любой народ, будь то сербский, хорватский или боснийский, имеет право на самоопределение.

— Нет никакого самоопределения! — взорвался Достоевский. — Лимитрофы всегда вынуждены выбирать сюзерена. Поэтому, если ты не с Россией, значит с англосаксами. А приведет это к тому, смею вас заверить, что через одно-два поколения они поймут простую истину: Россия включает в свой круг, иногда даже во вред собственным интересам, а у островитян, имею в виду и тех, которые на другом берегу Атлантики, у них прежде выгода, а после, не сочтите мои слова за шутку, тоже выгода. Вот этим пониманием славянофилы от вас, западников, и отличаются. Хотя определения, конечно же, устарели, но суть остается прежней.

— Федор Михайлович, давно уже нет ни тех, ни других, а есть глобалисты и ценности, единые для всего человечества.

Достоевский уже не слушал, как бывало обычно, если полемика его захватывала. Он говорил о преступлениях Запада в Ираке, Ливии, Афганистане как о явных вторжениях и о более хитрых методах, когда ситуация искусственно подогревается изнутри страны, которая чем-либо да не понравилась, а может, просто стала удобной мишенью, дабы перенаправить туда внимание собственного народа от внутренних проблем.

Уж как ни старался Тургенев вставить свое слово против высказываемых мыслей, да все напрасно, потому что Федор Михайлович продолжал в том же духе, только с еще

большей силой. Вдруг он смолк, но лишь для того, чтобы хитро прищуриться и произнести:

— А я ведь еще в 70-х годах аж позапрошлого века предупреждал, что не будет у России таких врагов, как славянские племена, и что начнут они, по своему освобождению, убеждать себя в том, что России они не обязаны ни малейшей благодарностью, напротив, будто от ее властолюбия едва спаслись. И станут заискивать перед Европой, клеветать на Россию, сплетничать на нее и интриговать против нее.

— Позвольте, — нашел Иван Сергеевич лазейку в речи оппонента, — славянские племена, как вы их высокомерно именуете, хотят просто влиться в Европейский союз, хотят стать частью его культуры, его мировоззрения, если угодно. Я считаю, что и России давно пора присоединиться к симфонии просвещенных наций.

— Какого мировоззрения? — тут же вскинулся Достоевский. — Неужели того самого, откуда вышли расизм, левые радикалы с их индивидуальным террором, националистические идеи Муссолини и Гитлера, колониальная политика? Ни одна цивилизация не рождала столько человеконенавистнического, сколько, на ваш взгляд, самая гуманная. К этому ли, Иван Сергеевич, вы призываете присоединиться?

Ответа не последовало, хотя Тургенев, чуть приоткрыв рот и расширив глаза, явно имел чем возразить. Помешали ему открывшаяся в хранилище дверь и зазвучавшие следом голоса. На сей раз голоса были знакомые: Антонина Петровна и Ксения Константиновна вели беседу возле стола, где на широчайшем холсте был распят Христос, каким увидел его на Голгофе неизвестный мастер.

Разговаривали женщины тихо, да и расстояние до них было изрядное, так что писатели в лучшем случае слышали обрывки фраз: «Что же теперь будет?.. Наверно, закроют... А как же зарплата?..» Из этих обрывков складывалось что-то тревожное, но едва ли определенное.

7

Еще во Франции он решил, что не будет навещать родовое гнездо, куда, согласно всем историческим документам, Белозеровы вселились еще в первой четверти XIX века. И любопытство, и желание увидеть дом своими глазами, и зов предков отходили на второй план в сравнении со страхом разочарования. А вдруг там запустение, упадок, бегают среди развалин крысы... Пускай уж здание остается таким, каким оно хранилось в душе все прошедшие десятилетия.

«Гнездо» находилось в бывшей Литейной части, совсем недалеко от отеля, из окна которого он сейчас снова глядел на Невский. Перед ним лежал проспект со всеми приметами современности. Однако воображение, преимущественно питавшееся фотографиями из прекрасного французского альбома, посвященного дореволюционному Петербургу, рисовало совсем иные картины: городовой с номерным нагрудным знаком на углу Невского и Литейного; тяжело берущая поворот конка, запряженная парой лошадей; открытый автомобиль с двумя военными на переднем сиденье; дворник в паре с человеком, поливающим из резинового шланга проезжую часть; торгующая молоком чухонка; и десятки снующих туда-сюда извозчиков, и гувернантки с детьми, и офицеры при саблях, и дамы в длинных юбках, и господа, на которых либо котелки, либо канотье, и публика попроще... Эти картины наслаивались на то, что ему виделось теперь, и возникало странное ощущение, будто он одновременно и здесь и там — судя по всему, на рубеже XIX и XX веков. Какое-то волшебство, думал он и никак не мог отойти от окна.

Наконец ему удалось пересилить себя, вспомнив, что в холодильнике стоит верное средство, без которого, казалось, наваждение вряд ли исчезнет. Он налил водки, гораздо больше той меры, которую обычно себе позволял. И тут же разлившееся по телу тепло, и легкое головокружение, и появившиеся в скучном дизайне гостиничного номера новые

краски перевернули все вокруг вверх тормашками.

Спустя некоторое время он обнаружил себя сидящим в пухлом кресле перед инкрустированным цветными камнями столиком, где лежал снимок, чудесным образом доставшийся ему от забывчивого ученика историка. С тех пор Павел Дмитриевич часто рассматривал фотографию. Казалось, что господин, взявшийся за свой котелок, вот-вот его приподнимет, чтобы поприветствовать идущего навстречу генерала, а сидящий на козлах кучер, который, видимо, от скуки замахнулся на лошадь, через секунду опустит на ее спину кнут... Запечатленное фотографом было настолько выпукло и зримо, что Павел Дмитриевич временами трогал пальцем то фигуры съехавшейся знати, то стоявшие друг за другом экипажи, то фасад дома...

Проснулся он в том же самом кресле, держа в руке фотографию, и, словно сон был всего лишь краткой передышкой, опять начал ее изучать. Страх перед поездкой в Литейную часть исчез, будто и не бывало, и, какими бы верными ни казались ему прежние рассуждения в Париже, теперь он мыслил совершенно иначе.

Оделся Павел Дмитриевич быстро, вызвал лифт со стеклянными стенками, сквозь которые жизнь «Коринтии» представлялась кем-то придуманной игрой, пока она не прекратилась вместе с открывшимися на первом этаже дверями. На выходе из отеля он не заметил услужливую улыбку служителя в красивой темно-синей форме, не обратил внимания на приветствие старушки немки из соседнего номера и на двух только что прибывших туристов, чей дорожный чемодан проехался своим колесиком по его ноге, — и вот уже шел по проспекту, выбирая кратчайший маршрут до цели.

Не прошло и получаса, как Павел Дмитриевич стоял напротив особняка и, как будто в дело мог вмешаться какой-то подлог, сверял его вид с изображением на снимке. Никаких внешних изменений, никаких изъянов и архитектурных потерь, наоборот, фасад выглядит так, словно после реставрации. А еще рядом много «скорых», что без сомнения указывает на теперешнюю принадлежность здания к медицинскому ведомству.

Внутри, конечно же, не было ни тех картин, ни тех люстр, ни той атмосферы «дворянского гнезда», какие были на дореволюционных фотографиях. Зато на своих местах находились два бородатых атланта, поддерживающих балкон с высокой балюстрадой, наяды в неглубоких нишах, страшноватые маски вдоль стен. Первый лестничный марш все так же завершало огромное овальной формы зеркало, и все так же, по мере восхождения или спуска, вырастали и уменьшались в нем человеческие фигуры. Удивительно, но не изменилось и расположение гардероба: вещи по-прежнему сдавали слева от лестницы. А вот справа, откуда в прежние времена гости попадали из вестибюля в большой танцевальный зал, сейчас висела над дверями вывеска: «Приемный покой».

— Вы к кому? — раздался голос охранника, неожиданно выросшего перед Павлом Дмитриевичем.

— Я, собственно... — он полез в карман, чтобы достать снимок, но от ошибки его спас тот же охранник:

— А, ждете кого-то на выписку. Тогда присядьте, чтобы персоналу не мешать.

На противоположном конце от входа в приемный покой были пластиковые стулья для ожидающих, но Павел Дмитриевич, как только сюда зашел, сразу заметил, что в целости и сохранности исторические каменные скамьи прямо под окнами. Отсюда он видел весь холл и только жалел, что нет с ним французского издания или книги Пухова, где интерьеры дома были показаны в подробностях...

Охранник исподволь следил за посетителем на каменной скамье, уж больно странно тот себя вел. Обычно как: ерзают на месте, но глаз не сводят с двери, из-за которой должен появиться выписывающийся. А этот нет: зыркает по сторонам, точно обстановку изучает, и еще изучает то ли листок, то ли фотографию. И ноль внимания к тому, что вокруг творится.

Подозрительный, в общем, тип. Что у него на уме?..

Он отвлекся на разговор с женщиной, объясняя, что ей нужно в другой подъезд больницы, когда сзади послышался глухой звук, словно что-то упало. С профессиональной реакцией охранника он немедленно обернулся и увидел, что странный посетитель завалился на бок и не шевелится.

— Ой, что это с ним? — прошептала женщина.

— Разберемся, — охранник направился к скамье.

Срочно вызванные санитары погрузили Павла Дмитриевича на медицинскую каталку. Потерявший на время сознание, он вдруг открыл глаза и слабым голосом произнес, обращаясь к склонившемуся над ним молодому врачу со строгим лицом:

— Голова закружилась... И слабость, вижу плохо...

— Как вас зовут? — нарочито громким голосом спросил врач.

— Павел Дмитриевич Белозеров, — сказал он медленно, почти по слогам.

— Похоже, он иностранец, — прошептала на ухо доктору медсестра, — с акцентом говорит.

— Потом будем выяснять. Сейчас немедленно в смотровую.

Когда каталку повезли по крупной плитке пола, а затем за поворотом коридора она исчезла из виду, охранник поднял упавшую фотографию.

— Что там?

Оказывается, эта любопытная дама еще была здесь, мало того, заглядывала через его плечо. Он с недовольством покосился на нее, однако ответил:

— Наша больница. 1907 год, как тут указано... Отдам, когда его выписывать будут.

8

Вернувшись с очередной прогулки, он застал дядю у телевизора поедающим испеченную женой шарлотку. Впрочем, ничего иного он и не ожидал увидеть.

Не до конца прожевав кусок, Егор Валентинович все-таки постарался сказать внятно:

— Накрылась твоя выставка в музее.

На удивление, фраза прозвучала не с издевкой, а с сочувствием. Благодарный уже за одно это, Никита Андреевич подумал, что информация, само собою, из зомбоящика, к которому никакого доверия он не испытывал. Однако же дыма без огня не бывает...

Уже достаточно давно в Китае обнаружили доселе невиданный вирус и долгое время на него смотрели как на далекую азиатскую экзотику, прежде чем, пробравшись в Европу, он не начал выкашивать людей сначала в Италии, а после и в других странах. До поры до времени в России было благополучно. Нет, то здесь, то там появлялись заболевшие, но их число даже не приближалось к обычным гриппующим. В последние дни, однако, все выпуски новостей открывались сюжетом с устрашающими цифрами, сколько поселков, городов и целых областей атакует новая болезнь. Имя ей дали COVID-19...

— Откуда вам известно? — спросил громче, чем следовало, Никита Андреевич.

— Да ты единственный, кто не в курсе, — Егор Валентинович не к месту рассмеялся. — С утра уже только и говорят, что с понедельника в Ленинграде вводится режим карантина. Ты вообще понимаешь, что это такое? Хотя для вас, штатских... — дядя с пренебрежением оглядел племянника. — Все сидят по домам. Если на улицу, то в маске и перчатках. Ни театров, ни музеев, ни хороводов. Короче говоря, больше десяти не собираться.

— Вот как, — растерянно проговорил Никита Андреевич.

— А ты думал! Почти военное положение. Но главное, — дядя понизил голос, чтобы открыть известную лишь избранным правду, — главное, что вирус не природный, а созданный в американских лабораториях и специально заброшенный в Китай, чтобы уничтожить основного конкурента. Военную силу «пиндосы» применять боятся, поэтому используют запрещенное конвенцией биологическое оружие. Причем им же и аукнется, потому что...

Недослушав, Никита Андреевич с поспешностью, ему несвойственной, выскочил из комнаты, а затем — из дома. Еще на прогулке он обратил внимание, что людей гораздо меньше, чем обычно, теперь же улицы и вовсе опустели.

То, что музей закрыт, было видно издалека: ни обыкновенного оживления возле касс, ни туристических групп, ни автобусов, ни снующих повсюду гидов; лишь около входа маячили фигуры охранников и полицейских, и даже промелькнул человек в белом медицинском халате. Вступать в переговоры с людьми в форме было делом заведомо безнадежным, тем не менее он постарался наладить отношения, услышав в ответ, дескать, пустить не могут, потому что гражданам велено из дома носа не казать.

— Нарушаете, товарищ, — подвел итог разговору молодой веселый сержант, а его коллега постарше заметил: — И без маски, режим не соблюдаете.

От греха подальше Никита Андреевич скрылся из виду стражей порядка и, зайдя на сайт Русского музея, стал набирать подряд указанные там номера телефонов. Они, будто тоже выполняя постановление властей, мертвенно молчали.

Только вечером, уже у дяди, ему позвонил Олег. Главный хранитель по-деловому описал обстановку (именно от него Никита Андреевич впервые услышал слово «пандемия»), после чего заявил, что, хотя открытие выставки откладывается, картину они пока вернуть не могут.

— Почему же? — холодно поинтересовался Никита Андреевич.

— По той же причине: пандемия и связанные с ней карантинные меры.

— Извините, но такого в нашем договоре не прописано.

— Это форс-мажор, — сообщил Олег и, не давая коллекционеру опомниться, тут же продолжил: — Карантин введен до конца месяца, а после, я уверен, жизнь вернется в прежнее русло.

Тут только Никита Андреевич не выдержал, не забыв в своем монологе ни Союз коллекционеров России, чьим членом он состоит уже два десятка лет, ни собственного юриста, к услугам которого может в любой момент прибегнуть, ни российского разгильдяйства при организации выставок, какого ни в одной другой стране не встретишь.

Сообразив, что ему попался крепкий орешек, Олег пошел на попятную:

— Давайте договоримся так: сейчас здесь будет сумасшедший дом, а через неделю заходите. Я вам сам позвоню. Тогда, если вы настаиваете на досрочном изъятии картины, мы ваш вопрос обязательно решим.

Для пущей важности Никита Андреевич поупрямился немного, но в конце концов согласился. Ему ведь не тяжба нужна, а Федор Михайлович Достоевский размером метр на метр.

9

Та суета в хранилище, которая насторожила писателей, показалась им сущей ерундой в сравнении с тем, что началось несколько дней спустя. Люди в костюмах наподобие тех, в какие облачаются космонавты, поливали из шлангов с распылителями стены, двери, ручки, столы, пол... В перерывах между шипением жидкости раздавались глухие голоса из-под «скафандров». Работали они четко и быстро, и вскоре, шурша своими диковинными костюмами, ушли. А следом в хранилище вбежали архивисты из архивистов и сразу же бросились проверять, не попала ли жидкость на предметы из музейного фонда.

— Если хотя бы капля, — угрожал один.

— Нам обещали, что такого не будет, — успокаивала другая.

— Это же химический раствор, — предупреждала об опасности третья.

— То-то и оно, — резюмировала самая рассудительная.

Сколько бы они ни искали следов надругательства над искусством, ничего обнаружить не смогли. Успокоились, кажется, все, кроме одного, угрожавшего «космонав-

там», — белесого очкарика с фанатичным выражением лица, который перед самым выходом предостерег коллег от излишней радости:

— Последствия от такой обработки могут проявиться далеко не сразу. Посмотрим, что будет через день, через неделю, через месяц. Посмотрим!

Едва на удивление шумные архивисты покинули помещение, как возник бархатистый голос писателя:

— Федор Михайлович, не спите ли часом?

— Тут скорее с ума сойдешь, чем поспишь, — проворчал Достоевский.

— Объясните тогда, голубчик, что за странная сцена разыгралась перед нами.

— Ваш вопрос, Иван Сергеевич, состоит из двух частей. Первое: мне совершенно очевидно, что в городе какая-то эпидемия. А второе, чему мы стали свидетелями, — карантинные меры.

— Позвольте, карантинные меры — это заставы, которые не допускают распространение болезни, — Тургенев о чем-то задумался и вдруг с пафосом произнес: — Если бы не та холера 30-го года, заставившая Пушкина задержаться на три месяца в Болдино, хотя он ехал на один, то не было бы у нас, вполне возможно, таких дивных последних глав «Евгения Онегина».

— И не было бы «Маленьких трагедий», — добавил Достоевский. — Тут прямо в яблочко: все, что ни делается, к лучшему.

— Вы, Федор Михайлович, опять о судьбе, каковую понимаете единственно как Божеское дело, — лицо Тургенева сделалось хитрым, будто он собирался на чем-то подловить собеседника. — А не будь прежних застав и нынешних «химиков», сколько бы людей полегло! И ведь могло бы и так статься, что ни «Онегин», ни «Трагедии» не увидели бы света. Если в борьбе с эпидемиями полагаться на ту же судьбу, тогда всем, в том числе и тем, о ком я только что упомянул, надо идти в церковь и молиться Богу, ибо Он один заступник и спаситель.

Как всегда, когда разговор касался вопросов религии, особенно в том случае, если оппонентом был атеист, гуманист и либерал в одном лице, — Достоевский нахмурился, готовясь взять верх всеми имеющимися средствами.

— Я вовсе не против науки и порядка и говорю совсем о другом... Сейчас же хочу продолжить начатую вами тему. Откуда у Пушкина знание образа жизни мелкопоместных дворян в глуши? Из Болдино. Чей быт, чей язык он изучил там досконально? Простых русских мужиков. И это голая правда!.. Вы же перестали узнавать свой народ и тем самым потеряли различие между добром и злом. Одно у вас легко переходит в другое и даже меняется с ним местами, чего вы сами не замечаете и оттого навязываете свою близорукость остальным. Взять хотя бы ваш атеизм, которым вы так тщеславитесь... Христианство дало нам до того высокое представление о человеке, такой вековечный его идеал, что одно лишь стремление к нему позволяет разом обладать и верой, и смыслом, и бессмертием. Вы же предлагаете взамен исключительно «рацио», из коего не то что духовное произрастать не может, а наоборот, произрастают сорняки самолюбия и гордыни. Тому, у кого есть Бог, ваши сорняки даром не нужны!

Только убедившись, что Достоевский замолчал и продолжать далее не намерен, Иван Сергеевич начал сам:

— Хоть я и атеист, а все-таки во многом соглашусь с вами. Лишь позволю себе заметить: человек, говорящий о Боге, вот как вы сейчас, должен являть собой идеал или приближение к нему в повседневной жизни, иначе тут противоречие, которого не разрешишь.

— На что вы, милостивый государь, намекаете? — Достоевский вскинул вверх голову. — Уж не на ту ли похабную историю, которую вы же и придумали, и посмели затем назвать анекдотом?

Поскольку Тургенев молчал, да еще с таким видом, словно не хочет вдаваться в непристойные подробности личной жизни Федора Михайловича, тот продолжил без обиняков:

— Ваш мерзкий анекдотец, который дошел до меня, вероятно, уже в смягченной редакции, сводится к тому, будто бы я появился у вас в гостинице, дабы открыть перед вами всю бездну своей низости. Состоит же низость в том, что, дав гувернантке пятьсот рублей, я совратил ее малолетнюю воспитанницу. Все это я в самых возмутительных деталях описал вам, чем, разумеется, вызвал ваше негодование. Уходя же, совершенно счастливый в своей подлой выходке, я признался, что изобрел этот случай единственно для вашего развлечения. Так ли я рассказываю историю, Иван Сергеевич, или что-то упустил?

Тургенев был бледнее бледного и только жалел, что своим необдуманным замечанием вызвал такую бурную реакцию Достоевского.

— Всего лишь анекдот, Федор Михайлович! К тому же я всегда заключал его тем, что, конечно, не поверил ни единому вашему слову против себя, а шутку вашу оценил как литературное упражнение.

— Анекдот, который...

На губах писателя выступила белая пена, как бывало при начале приступа эпилепсии. Лицо его посинело, он схватился за горло и через силу стал тяжело и часто дышать. По ногам пробежала судорога, а затем перекинулась на все тело, которое то ненадолго замирало, то снова билось в конвульсиях.

Иван Сергеевич Тургенев хотел броситься к нему, но из рамок картины, при всех его усилиях, было не вырваться. И тогда он начал звать на помощь, сначала тихо, а потом во весь голос, который гулко разносился по пустому хранилищу.

10

Спустя неделю после операции Павел Дмитриевич лежал в трехместной палате и следил за тем, как капля за каплей ритмично падает в трубку и после проникает в его кровь. Соседи ему не мешали. Лежавший слева едва слышно похрапывал, а тот, что справа, читал газету. Вообще, по его наблюдениям, «инфарктники» отличались тихостью и смирением, как будто только тем и занимаясь, чтобы без конца отматывать ленту жизни назад и замирать там, где жизнь замирала.

Когда капельница, которая приковывала внимание безразличной ко всему размеренностью, опустела, Павел Дмитриевич перевел взгляд сначала на потолок, потом пробежался по стенам, окнам, нишам. И хотя он уже давно изучил каждый миллиметр поверхности, которая везде была до скуки ровной, за этой казенщиной ему легко угадывалось, где прежде устремлялись вверх пилястры, где разворачивались свитки картушей с гербом Белозеровых, а где по верху стен тянулась лепнина или плел свои узоры растительный орнамент.

От слабости, от уколов и капельниц, то проваливаясь в сон, то ненадолго выныривая из бессознательного, он порой словно бы оказывался в том старинном особняке, откуда вышло не одно поколение его предков. И слышались их голоса, и о чем-то переговаривалась прислуга, и тени вдруг превращались в людей, как будто прозрачных, а все-таки вполне зримых...

— Как вы сегодня? — одна из теней обернулась медсестрой и подошла к нему. — Давайте я вам укол сделаю. Поворачивайтесь, вот так...

На какое-то время затуманенное сознание прояснялось, и Павел Дмитриевич думал о том, что если ему удастся выкарабкаться, то первым делом он пойдет в церковь и будет благодарить Бога, что дал ему напоследок побывать пусть и в иллюзорном, но собственном доме. А если не удастся... Что ж, он успел сделать то единственное, ради чего, собственно, и приезжал в Россию. И хотя сделанного ничтожно мало, большее было просто не в его силах...

В то же самое время, когда Павел Дмитриевич лежал под капельницей, Иван Сергеевич Тургенев, оставшись без своего вечного оппонента, изучал новых соседей. Были тут крестьяне, священники, титулованные особы, студенты, мастеровые, купцы разных гильдий

и военные в разных чинах. Словом, представители всех сословий, вот только ни одного писателя или хотя бы знакомого лица.

Он заскучал по спорам с Достоевским. Ведь, что ни говори, литературные и политические страсти были ему единственным утешением, когда его засунули в эту музейную темницу. А здесь и поговорить-то не с кем... Расспрашивать крестьянина о видах на урожай или купца о выручке с товара Тургеневу совсем не хотелось. Все-таки, каким бы вздорным человеком ни был Федор Михайлович, как бы он ни отстаивал особый русский путь и православие, чем бы ни прикрывал свою природную ненависть к Западу, а другого такого поди сыщи. Талантище, с какой стороны ни посмотреть!..

Будучи человеком общительным, так что и несколько часов в молчании были для него мýкой, Иван Сергеевич не оставил желания хоть с кем-нибудь слово молвить. Уж он и так и этак высматривал собеседника и, наконец, обнаружил: в соседнем ряду, правда, далековато от него, был немец, написанный очень точно, но без какой-либо художественной изюминки. Старательный живописец изобразил образцового офицера кайзеровской Германии в знаменитом шлеме с пикой. Да, подумал Тургенев, портрет так себе... Неужели, однако, имеет значение, что автор отнюдь не гений, что отношения с военными никогда не складывались, что, стало быть, общие интересы у них вряд ли обнаружатся? Достаточно того, что немец, а уж какой, не столь существенно.

Они познакомились, пускай разговаривать и приходилось очень громко. Ситуация, однако, упрощалась одним обстоятельством: из тех, кто поблизости, немецкий знали только они, в противном случае в их беседу обязательно кто-нибудь да влез.

Немца звали Карл фон Бах. Происходил он из старого прусского рода. Все его предки посвятили жизнь военному делу, а сам Карл служил офицером Генерального штаба.

— Единственно достойное занятие для мужчины, — заявил пруссак.

— Соглашусь с вами, — заметил Тургенев, — с той лишь разницей, что солдаты нужны во время войны, тогда как в мирные годы для человека есть и другое, чем ему прилично заняться. К слову, как раз не допустить, чтобы начались военные действия.

— Штатская чушь, — отрезал Карл. — Нет ни одного серьезного вопроса между государствами, который можно решить мирным путем.

— Позвольте, — Иван Сергеевич приосанился. — Вы, представитель цивилизованной нации, не имеете права произносить такие слова.

— Еще как имею! Вся история Германии подтверждает мою правоту. Когда мы действовали решительно, то всегда добивались успеха, и наоборот, при всяком заигрывании с демократией терпели поражения.

Тургенев не стал наступать на больную мозоль германца, а именно упоминать две мировые войны, зато ухватился за слово «демократия».

— Европа, в том числе, конечно, и Германия, пришла к парламентской форме правления. Выборность власти — вот в чем основа процветающего государства.

Карл фон Бах ответил с прямолинейностью солдата:

— Снова штатская глупость! Демократия необходима лишь для того, чтобы успокаивать население. Разве Рейхстаг решал что-либо важное в Германии? Сменяемость победивших партий — всего лишь камуфляж, рассчитанный на простачков из народа. Хороший пример: демократы и республиканцы в Америке. Как бы они между собой ни собачились, а приходя к власти, всегда поют одну и ту же песню, только разными голосами. Почему так происходит? Потому что, каким бы образом ни закончились выборы, элита остается прежней. Элита — это я и подобные мне, то есть те, кто имеют силу, волю, образование, родовые корни. Только мы можем руководить, воевать и думать в масштабе всей страны.

Услышь Иван Сергеевич такое от русского, он бы лишь скептически ухмыльнулся, мол,

чего еще от него ждать. Но тут был немец, можно сказать, немец в квадрате — пруссак, к тому же из высших военных сфер...

— Стало быть, вы и России советуете взять за образец подобную политическую систему, — растерянно произнес он.

— Чтобы избежать революций вроде тех, что случились у вас в 17-м году и в 91-м, именно это и предлагаю. Либо пробуйте что-то свое. Вы, русские, горазды на всякие выдумки, — Карл по-немецки простодушно рассмеялся, отчего в своих рамах вздрогнули даже драгунский обер-офицер и штабс-капитан с лихо закрученными вверх усами.

Теперь уж совсем «достоевщиной» попахивает, подумал Тургенев, со всеми ее Раскольниковыми и Алешами Карамазовыми, князьями Мышкиными и Верховенскими. Немец, а заговорил точь-в-точь, словно наш реакционер, только со своей стороны. Эх, обсудить бы с Федором Михайловичем сей парадокс, да как нынче обсудишь...

Едва он успел так помыслить, как со всех сторон зашикали на фон Баха и стали его ругать. Оказывается, тот, теперь уже неизвестно почему, хотя и в первый раз было не очень известно, снова оглушительно рассмеялся, и если громкую и непонятную речь могли снести, то хохотом он настроил против себя все сословия российского общества.

— Что ж вы, даром что иноземец, точно лошадь ржете, — пробасил купец первой гильдии.

— Ведь чай христианин, а такое себе позволяете, — высказался протоиерей.

— Если разговариваете, тогда по-русски, — приказал штабс-капитан.

Из всего сказанного Карл фон Бах уловил лишь то, что его поведением недовольны.

— Господа, — обратился он ко всем, даром что его понимал один Тургенев, — прошу принять мои извинения. Я дал волю эмоциям и тем самым нарушил покой вашего уездного города.

Вскоре все вокруг погрузилось в тишину. Многие, похоже, спали. Но только не Иван Сергеевич Тургенев. Из головы никак не шел разговор с пруссаком, и он мучился мыслью, что если такова европейская элита, если она столь груба и цинична, почему тогда он, потомственный русский дворянин, гуманист, известный писатель... Тут мысль останавливалась, попадая в западню противоречия, и он вновь запускал ее с самого начала, пытаясь найти хитрые лазейки, лишь бы не сознаваться в собственной наивности и впустую прожитых годах.

11

На Никите Андреевиче была черная медицинская маска, а еще резиновые перчатки, купленные в аптеке. Он подготовился загодя, чтобы не дать охране ни малейшего повода развернуть его обратно. Собственно, предосторожность оказалась излишней, поскольку Олег, главный хранитель, видимо, несколько обеспокоенный их предыдущим разговором, ждал его возле служебного входа. На нем тоже была маска, только синего цвета.

Путаными коридорами и лестницами, минуя художественные залы, они поднялись в хранилище. Никита Андреевич молчал, не из-за маски, хотя она и мешала говорить, но главным образом потому, чтобы сдержать раздражение до того момента, когда картина окажется в его руках.

Еще утром он вконец поругался с дядей, который выловил из местных новостей информацию, что в связи с карантином Петербург закрывает авиационное и железнодорожное сообщение. Получалось, что Никите Андреевичу будет не выбраться из города еще бог знает сколько времени.

— Считай, остаешься у меня на перевоспитание, — то ли шутил, то ли действительно так думал дядя. — Я тебя быстро научу Родину любить. Иначе, вижу, ты все больше в сторону Запада смотришь, а там так называемые наши «партнеры», для которых чем Россия слабее — тем им лучше.

Сама мысль о том, чтобы надолго задержаться у дяди и каждый день выслушивать подобные заявления, была для Никиты Андреевича невыносима. В порыве гнева он прокричал:

— Вы типичный «совок»! Таких, как вы, надо изолировать и держать подальше от нормальных людей!

— Клара, — позвал Егор Валентинович, — тут племянничку совок нужен. Захвати еще веник и помойное ведро не забудь.

После такого разговора Никите Андреевичу ничего не оставалось, как быстро собрать свой чемодан и хлопнуть дверью, несмотря на все увещевания жены подводника...

Теперь, пока оформляли акт о снятии картины с выставки, он едва терпел, чтобы до срока не наговорить грубых слов. Когда же главный хранитель поставил окончательную подпись, он резким тоном заявил:

— Хочу прямо сейчас увидеть свое полотно.

— Нет ничего проще, тем более мы и собираемся вернуть его вам.

Они направились в тот отдел хранилища, где находилась картина. За ними, соблюдая некоторую дистанцию, шли Антонина Петровна с Ксенией Константиновной. Именно они выкатили в проход между отделами конструкцию, посредине которой был закреплен портрет Достоевского. Сняв маску, Никита Андреевич тотчас впился в него глазами, затем начал осматривать вблизи, после чего снова отошел назад.

— Что вы сделали с работой? — спросил он тихо, но таким недобрым голосом, что пожилые женщины в недоумении переглянулись, тогда как главный хранитель оставался совершенно спокоен:

— Вы нашли какие-то повреждения, утраты? В чем ваши претензии?

Вся накопленная злость загорелась внутри него огнем, не разбирающим, где правда, а где вымысел, где здравый смысл, а где одни эмоции.

— Вы посмотрите, он нездоров! Глаза затуманены, полуоткрыт рот, лицо синюшного цвета. У него что, был эпилептический припадок?

Музейщики слушали его, словно оказались в роли экскурсантов в психушке и сейчас им демонстрировали одного из больных, путающего живопись с действительностью. Между тем Никита Андреевич прекращать не собирался и, похоже, только раззадоривал себя в желании напоследок устроить спектакль.

— Напротив моего Достоевского была чья-то графическая и очень слабая работа с изображением Тургенева. Значит, я уже не первый, кто забирает предметы с выставки.

В конце концов Олегу надоел этот жалкий фарс, разыгрываемый далеко не лучшим актером:

— Если вы хотите и дальше юродствовать, что не к лицу солидному коллекционеру, тогда найдите себе других слушателей. А что касается портрета Тургенева, то в нем главное не мастерство автора, а его личность. К вашему сведению, Ивана Сергеевича написала Полина Виардо, что имеет несомненное искусствоведческое значение.

— А почему эта работа исчезла? — с вызовом спросил он.

— Мы перевели ее из временного фонда в постоянный. Вы же наверняка знаете, Никита Андреевич, кто такой даритель.

— Он, очевидно, сумасшедший, ведь если это Виардо, то стоит бешеных денег. Кто он, может, я его знаю?

— Он на днях умер, — тихо произнес Олег. — Иностранец, но из русских.

— Наверно, не выдержал, что расстался со своей работой, — зло пошутил Никита Андреевич.

Посмотрев на коллекционера вместе и с жалостью, и с презрением, хранитель сказал:

— Повторю банальную истину, которая от этого истиной быть не перестает: не меряйте всех по себе.

Никита Андреевич махнул рукой, дескать, о чем с вами говорить, и, повернувшись к стоявшим молча женщинам, распорядился:

— Несите упаковочную бумагу. Надеюсь, она у вас есть? И перевяжите получше, чтобы удобно было нести.

Пока картину пеленали, а главный хранитель говорил по телефону, явно желая затянуть разговор, лишь бы не общаться с Никитой Андреевичем, — он расхаживал взад-вперед, иногда останавливался, что-то

бормотал себе под нос — и вдруг резким движением надел маску и глухо из-под нее рассмеялся.

Музей закружил его своим хитросплетением переходов, которые то упирались в тупик, то заканчивались закрытыми дверями, то закручивались в непонятно куда ведущие лестницы. И не у кого было узнать дорогу среди пустых и однообразных коридоров. Наконец он наткнулся на будку с заспанным охранником, вялым жестом показавшим, в каком направлении двигаться.

Он вышел с тыльной стороны дворца в Михайловский сад. Не обращая ни на что внимания, постепенно успокаиваясь и нахваливая себя за то, как ловко ему удалось вырвать Достоевского из лап музейщиков, он долго шел по аллеям сада, вдоль канала Грибоедова, по Невскому, пока не оказался возле Гостиного Двора. Здесь он присел на гранитную, круглой формы скамью и впервые огляделся по сторонам.

Несмотря на раннюю весну, было тепло, и, казалось бы, когда как не сейчас снимать с себя надоевшие зимние одежды и гулять по освободившимся от снега улицам. Город, однако, был безлюден. И даже здесь, на бойком торговом месте, лишь изредка попадались одинокие фигуры в масках и в спешке, точно все куда-то опаздывали, проходили мимо.

Это был Петербург без жителей, идеальный город, каким он виделся Никите Андреевичу. Только гранитные набережные, колоннады дворцов, благородная бронза памятников... Им овладело редкое чувство, когда невозможное осуществимо с легкостью одного желания и каждый предмет, будь то громада «Пассажа» напротив или заурядный уличный фонарь, становится таким, как тебе захочется. Мало того, порой воображение не поспевало за метаморфозами и вынужденно подстраивалось под уже готовые формы.

Волшебство длилось и длилось, и, куда бы он ни посмотрел, ни один вид его не разочаровывал. Словно боясь, что все вернется на круги своя, он прижимал к себе портрет как вещественное доказательство действительности.

А потом начался дождь — нудный, бесконечный, питерский. Лишь теперь Никита Андреевич обнаружил, что, покидая дядин дом, забыл зонт. Возвращаться за ним, хоть зонт и стоил немалых денег, было немыслимо, и, чтобы не мокнуть, он укрылся под аркадами Гостиного Двора. Пробежавшись взглядом вдоль витрин, он убедился, что универмаг закрыт, как оказались закрыты и все другие магазины на Невском. Только тут из каких-то закоулков сознания всплыло это страшноватое слово «пандемия», и, уже зная, чем грозит ему самый европейский в России, блестящий, но сейчас мертвый город Петра, он стал лихорадочно набирать телефоны отелей и гостиниц, гостевых домов и хостелов. Телефоны отзывались длинными гудками, пока в одном из них не возник механический женский голос, который с официальной отстраненностью стал зачитывать постановление властей о временном закрытии... Далее шел такой длинный перечень, что, недослушав, он отключил мобильник. Оставалось последнее и всегда действовавшее безотказно — деньги. В этой стране они открывали любые двери, даже запертые на семь засовов. Вернее, денег у него не было, зато имелась банковская карта с изрядной суммой на счете.

Под усилившимся дождем Никита Андреевич бросился к отделению банка. И, добежав, долго звонил, нажимал на кнопку связи, ругался и бил ногой по стоявшей возле входа урне. В широкие окна он видел заманивавшие яркой расцветкой терминалы и едва сдерживался, чтобы не разбить стекло. Подумать только, какая-то хрупкая и в то же время непреодолимая преграда отделяла его от желанного мира безграничных возможностей! Там достаточно было вставить карту в ячейку, набрать свой код — и вот уже с сухим потрескиванием внутри аппарата начался счет, а после вылезла наружу — на, бери! — тугая пачка пятитысячных — приятная на ощупь, ровная, купюра к купюре...

Поздно вечером, мокрый до нитки, продрогший, Никита Андреевич пришел к дяде

и сделал вид, никак не вязавшийся с его теперешней внешностью, будто ничего не произошло. Упакованную картину, тоже всю мокрую, он поставил на пол рядом с вешалкой и впервые в дядином доме произнес:

— Здесь изображен Достоевский.

— Вот оно что! — чему-то обрадовалась вышедшая к мужчинам Клара.

— Не только великий писатель, но и великий патриот России, — продолжил он с наигранным воодушевлением, лишь бы вновь не оказаться на улице.

Егор Валентинович молча его оглядел и распорядился:

— Клара, накорми племянника.

— Зонт забыл, — Никита Андреевич постарался сказать это таким тоном, чтобы было ясно: он вернулся не за зонтом, а просто промок из-за его отсутствия.

Еще раз оглядев племянника и слегка поморщившись, дядя произнес пошлейшую с точки зрения Никиты Андреевича фразу: «Русские своих не бросают», — и снова занял место у телевизора, тогда как его жена, довольная возвращением постояльца, захлопотала на кухне.

Все оставалось точь-в-точь таким, каким было до его ухода. Только теперь Никите Андреевичу приходилось выбирать одно из двух: либо хитрить и подстраиваться под здешний мир, либо самому стать его преданной и бескорыстной частью.

АВТОГРАФ ПУШКИНА

рассказ

Я был уверен, что смогу его уговорить. При нашем первом разговоре он показался человеком приличным, готовым выслушать чужое мнение и даже поменять собственное. Словом, не тем коллекционером, какого рисует услужливое воображение, мол, удавится за копейку, лишь бы сбить цену.

Благородный, знающий русскую культуру, влюбленный в поэзию, читающий на ночь непременный томик Пушкина, так думал я об Илье Григорьевиче, отправляясь с ним на встречу.

Он выбрал Румянцевский сад, потому что жил неподалеку, да и мне от университета, где я преподавал на филфаке, идти было минут пять.

Илья Григорьевич, невысокий, энергичный, с высоко поднятой головой, быстрыми и мелкими шагами пересек 1-ю линию Васильевского острова и добрался до румянцевского обелиска в центре сада. После краткого осмотра сидевших, прогуливавшихся и бегавших, на его лице возникла та странная гримаса, которую в начале нашей предыдущей встречи я посчитал проявлением зубной боли и которая на самом деле оказалась улыбкой.

— Категорически приветствую молодого пушкиниста, — садясь рядом со мной, сказал он скороговоркой и поморщился от «зубной боли», давая понять, что произнесенные слова были шутливой формой обращения. И хотя я привык выступать перед студентами, мало того, заранее подготовил свою речь, то взывая к совести русского интеллигента, то приводя убедительнейшие доводы в пользу моего предложения, — все пошло насмарку, едва я открыл рот. Сбивчиво, эмоционально, с постоянными спохватками... В общем, с трудом закончил.

Человек практичный, Илья Григорьевич снял, как шелуху, вопросы этики заодно с моим волнением, оставив только суть дела.

— Автограф Пушкина, — медленно произнес он, — это такая штуковина...

И далее, посматривая то на вершину обелиска, то опуская глаза к его основанию, где лежали цветы, и ни разу не взглянув на меня, — он начал рассказывать историю некоего че-

ловека, собиравшего на берегу моря мозаичную картину, которую перевозил разбившийся в шторм корабль. Прошло много времени, прежде чем все части встали на свои места. Не хватало лишь одного кубика смальты. Но вот и он отыскался! От нахлынувшего счастья собиратель настолько расслабился, что не заметил, как крутая волна выхватила смальту из его рук и унесла в море. Цветной фрагмент стекла вновь сделался ничьим, а главное, без этого фрагмента потеряла смысл вся мозаичная картина.

Непонятно, почему Илья Григорьевич посчитал, будто иносказательный язык при общении со мной наиболее удобен. За исключением Библии я терпеть не могу притчи! С первых слов ясно, какова будет мораль, чем дело закончится...

А закончилось так: он продемонстрировал очередной приступ «зубной боли», я услышал его извинения, что ему надо спешить, и затем увидел, как он садится в средние двери троллейбуса на той же 1-й линии.

Была какая-то вспышка, ослепляющая, с непонятным источником света, и на миг все кругом замерло, а когда снова пришло в движение, то неподалеку от меня начали носиться друг за другом игравшие в саду дети, загремело из мобильника подростка резко включенное — бум-бум-бум — подобие музыки, испуганная этим с ветки дуба осыпалась стайка голубей, со стороны Невы прогудел невидимый отсюда корабль, троллейбус, куда только что зашел коллекционер, выпустил из задней двери сначала несколько студенток (вроде бы из той группы, где я читал историю русской литературы), а затем на тротуар ступил один очень примечательный человек.

На нем было распахнутое шерстяное пальто, старомодные черного цвета башмаки, которые он ставил по-медвежьи, носками внутрь, а вязаную шапку, по причине теплой погоды, он снял, обнаружив залысину и неожиданно длинные волосы. Он шел по аллее Румянцевского сада, по всей видимости, намереваясь занять одну из свободных скамеек. В его тяжеловесной, а все же какой-то легкомысленной походке, в его несколько удивленном выражении лица, — весны, уже шумевшей кругом, было не меньше, чем в хорошо припекавшем солнце, в распускавшейся листве и в том бестолковом круговороте, который устроили малыши, стоило им только обнаружить под деревом сдувшийся резиновый мячик с белой полосой вкруг синего фона.

Он был уже недалеко от меня и, остановившись посреди аллеи, мял в руках вязаную шапку. Глядя на его руки, тонкие, с изящными пальцами, как будто по ошибке доставшиеся грузному телу, я никогда бы не подумал, что этими нежными руками он вытачивает на станке удивительные вещи и что мебель в его доме изготовлена им самим. Не подумал бы, говорю, если бы не бывал у него в квартире, где видел и станок, и шкафы из резного дерева, и столики, и шифоньерки.

Звали его, умершего примерно год назад, Евгений Аркадьевич Панченко. Личность хорошо известная среди писателей, студентов-филологов, равно как и среди тех, кто занимается коллекционированием и реставрацией старинной мебели. Со всем своим обременением знакомств и знаний покойный уселся на скамейку. Подставив лицо полуденным лучам, откинув голову на верхнюю рейку скамьи, вытянув свои длинные ноги поперек дорожки, Панченко, казалось, впал в блаженно-сонное состояние.

Какой могла быть моя реакция на появление человека, на чьих похоронах, помнится, все плакала какая-то безутешная старушка? Разумеется, я не поверил своим глазам. Обознался, просто похож, да и этой вязаной шапки, которую он продолжал держать в руках, что-то я не припомню...

Так, с недоверием, я на него и смотрел, и старался находить признаки, которые указывали бы на лже-Панченко, и даже находил, пока он, открыв глаза и глядя сквозь ресницы на солнце, не произнес фразу, которую использовал вне зависимости от контекста и всегда с неясным для других значением:

— Разберись, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи.

Понятно, что Пушкин, что «Капитанская дочка». Даже, насколько помню, говорит фразу капитанша, услышав о ссоре между дворней, говорит одному из своих слуг. Но скажите, Евгений Аркадьевич, ради чего нам-то это повторять? Образовывать филологов... Прослыть большим оригиналом... Или человеком одной мысли... Или гением, понять которого современники не в силах... Любое из этих предположений вызывает лишь смех.

Так или иначе теперь, когда не нужно было искать смысл (да и бывает ли он в нелепице?), цитата из Пушкина однозначно указывала на сидевшего напротив меня как на профессора Евгения Аркадьевича Панченко (извините, забыл сразу представить его ученое звание). Обычно вместе с определенностью многое проясняется само собой, однако в этом случае дело запуталось окончательно.

Я ни секунды не сомневался, идти за ним или нет, когда, казалось, помахав на прощанье, а на самом деле прикрывшись ладонью от солнца, он покинул Румянцевский сад. Шел и думал, вернее, пытался хоть чем-то заполнить образовавшиеся в сознании ямы, и если с мелкими из них кое-как удавалось справляться, то крупнейшую ни слева, ни справа было не объехать. Дело в том, что профессору сделалось плохо прямо во время занятий, и выбежавший с его лекции студент первым натолкнулся как раз на меня. Я брел по университетским коридорам без дела, приехав на час раньше положенного и желая провести это время в уютном кафе филфака. Услышав историю об упавшем на пол Панченко (по мере того как студент рассказывал, он то надевал, то снимал очки, а вместо финальной точки сунул их в нагрудный карман пиджака), я мигом оказался в аудитории, где частенько и сам читал лекции. Выяснилось, что «скорую» уже вызвали, так что оставалось лишь дождаться врачей.

Пока его, человека весом не меньше ста килограммов, грузили на носилки и затем с тяжким усердием несли, я кружил рядом, отворяя двери, показывая дорогу, повторяя излишнее: «Осторожней, осторожней...» Поехал я и в больницу. Сидел в коридоре, со всех сторон, даже на потолке, выложенном кафельной плиткой. Ее какой-то обреченно белый цвет, блики от ламп, которые с настырностью меня ослепляли, плакаты на стенах с предупреждениями, чем закончится пренебрежение собственным здоровьем, делали, казалось, любую болезнь безнадежной. Впрочем, я и без того догадывался, каким будет финал...

Катя рассказывала, что Евгения Аркадьевича уже дважды предупреждали: первый звоночек был тихим, а вот от последствий следующего он приходил в себя не один месяц. Короче говоря, профессор перенес два инфаркта. Третий непременно стал бы последним, так сказал врач при выписке из больницы.

Катя была его студенткой и, конечно же, отличницей — на другую, в какую блестящую обертку ее ни заверни, он просто не обратил бы своего заинтересованного мужского внимания. Катя же, в обыкновенном представлении, не была привлекательна. На нее обращали внимание, по крайней мере так случилось со мной, только во время разговора, когда все в ней сливалось воедино: слова с тонким очерком губ, мысли с чуть искрящимися глазами, паузы с тем выражением лица, которое мне особенно нравилось — задумчивость и в то же время готовность, только попроси, поделиться самым сокровенным. Лишь много позже я понял: талант Кати вовсе не в обаянии, а в том, что у нее есть поразительные внутренние весы, на которых она умеет взвешивать не только меру выгоды от общения с тем или иным собеседником, но даже каждую произнесенную фразу вплоть до ее интонации. А разве вы, Евгений Аркадьевич, этого не знали, проведя с Катей гораздо больше времени, нежели я, грешный?..

Конечно, на ответ профессора я не рассчитывал. Он по-прежнему шел неспешно, тогда как у меня привычка к быстрой ходьбе боролась с необходимостью идти в одном с ним темпе. Я не был уверен, смогу ли долго изображать из себя старика, зато не сомневался в направлении нашего движения.

В этот дом на 1-й линии Васильевского острова мы с Катей заходили часто. Чтобы не быть застигнутыми врасплох в квартире Пан-

ченко, я заранее узнавал, какое у него расписание занятий. Моя предусмотрительность, вовсе не лишняя, тем не менее вызывала у тебя улыбку, казавшуюся тогда спокойствием богини. Откуда я мог знать, что тебе в тот момент было без разницы, застукает нас профессор или нет, даже лучше, наверное, чтобы застукал. Собственно, ты своего отношения к Панченко особо и не скрывала, просто мне, влюбленному дураку, изменили разом и зрение, и слух, и проницательность...

Дом с каждым шагом ближе — и вот он, канареечного цвета, с башенкой на углу, увенчанный пьедесталом, где прежде был рыцарь, исчезнувший после реставрации. А дальше всем своим архитектурным пиршеством флоры и фауны навис над тротуаром эркер. Помню его в подробностях, и как мы целовались там, и ты задернула занавеску, ибо с улицы эта часть квартиры прекрасно просматривалась.

Я не допытывался у Кати, почему она изменяет профессору, — и так все было ясно, если не забывать о его инфарктах, — но вот другое не давало мне успокоиться:

— Как ты могла с ним? — недоумевал я. — Он ведь вдвое тебя старше!

Она отшучивалась, отмалчивалась, отговаривалась, пока однажды, то ли раздраженная моими расспросами, то ли на минуту потеряв бдительность (по всей видимости, последнее), не призналась тоном взрослой женщины, объяснявшей что-то школьнику:

— Как ты думаешь, легко ли остаться на кафедре, пусть даже твою зачетную книжку, как выразился один умник, хоть на стену вешай в качестве образца?

— Но все же... — начал я, но она, не слушая, продолжила в ритме предыдущей фразы:

— А легко ли, несмотря на дипломную работу, которую, тоже как образец, нужно прибить к стене гвоздями?

Эти ее слова чуть приоткрыли окошко, куда, будь я благоразумен, следовало бы заглянуть, чтобы увидеть, какими жертвами и какой ложью можно вымостить дорогу собственной судьбы. Но я не заглянул, наоборот, прикрыл оконную створку, опасаясь сквозняков.

Наша с Катей беседа происходила... Да, как раз здесь. Почему, Евгений Аркадьевич, вы остановились именно на этом месте? Или вам известно, где и о чем мы тогда разговаривали?.. Я не верю в совпадения, уж слишком много всего судьбе надо предусмотреть, а она, знаете ли, ленива, в отличие от той же Кати... Постойте, а это кто, собственно?!

К профессору подошел мелкий человечек неопределенного возраста, но скорее все-таки хорошо сохранившийся старик, чем рано состарившийся юноша. Его лицо, одутловатое и какое-то по-бабьи доброе, было лицом андрогина. Принадлежность к мужскому полу, главным образом, определяла одежда: куртка, по виду его ровесница, мешком сидевшие черные штаны и того же цвета неожиданно крепкие лакированные ботинки, точно он их забыл снять после светского приема.

Панченко и это существо общались, не сходя с места, без спешки, так что сначала я замер, не решаясь приблизиться, а затем все-таки подошел, благо профессор располагался ко мне спиной, тогда как со стариком мы виделись впервые.

— ...именно в такой пропорции, — закончил какую-то фразу андрогин. Его голос оказался довольно грубым и с той хрипотцой, какая появляется от постоянного курения.

— Я хочу, чтобы вы мне показали, — возразил Панченко.

— Повторяю, это проще простого, — недовольно произнес его собеседник. — Вы же профессор, а сомневаетесь, словно первокурсник.

— Я сомневаюсь потому, что дело должно быть верным. Раз — и все.

— А на счет «два» что вы планируете? — с явной издевкой поинтересовался андрогин.

— Вас это не касается. Я заплатил, так? Поэтому, будьте добры, сдайте работу «под ключ».

— Выражаетесь, как филолог со строительным уклоном, — усмехнулся андрогин и тут же перешел в атаку, резко протянув руку с какой-то склянкой темного стекла и заявив вызывающим тоном: — Держите, профессор, не то сейчас грохну об асфальт.

— Вы позволяете себе...

Что именно он позволяет, андрогин слушать не стал, лишь произнес, глядя, как собеседник аккуратно, одними пальчиками, изучает склянку:

— Заказ я выполнил полностью. Как пользоваться, подробно объяснил. А инструкцию по применению, вы ж должны понимать, в таких случаях не пишут.

Он удалился, и Панченко сразу позабыл о нем. «Заказ», по-видимому, был столь важен, что, даже зайдя во двор, затем открывая дверь подъезда, он продолжал ощупывать изгибы стекла и пластмассовой крышки, будто бы исполняя какой-то совершено необходимый ритуал.

Выждав паузу, когда, по моим расчетам, он поднялся уже высоко, откуда входная дверь не видна, я без единого звука ее отворил и оказался в широком коридоре, пол которого был устлан старинной черно-белой плиткой в стилистике шахматной доски. «Интересная будет партия», — проговорил я про себя, не зная ни первого своего хода, ни хода противника, ни даже того, каким цветом придется играть.

Третий этаж, четыре лестничных марша, одышка полного и немолодого человека, его тяжелые шаги... А мне помнилось совсем другое: я стою во дворике этого дома, настолько тесном, что непонятно, как сюда втиснули и детскую площадку с вертлявыми развлечениями, и садик с чахлыми деревцами и кустарником, и парковку, где машины, все неожиданно дорогие, прикидываются застывшими на вечном приколе, и помойку, в любое время переполненную разноцветными отбросами, — тут же и я, под металлическим навесом парикмахерской, о которой совсем забыл сказать. Место знакомое до мелочей, потому что ты всегда просила меня быть вне досягаемости взглядов любопытных соседей. (Как теперь понимаю, с твоей стороны это была не более чем игра, ведь тогда, добившись стабильного положения на кафедре и уже тяготясь старым любовником, к тому на грани последнего инфаркта, ты искала новую перспективную цель, каковой я, твой тезка по должности, быть никак не мог.) И вот раздается телефонный звонок, а следом твой голос сообщает: «Можешь подниматься». Я прыгаю через две-три ступеньки, благо сил, в том числе любовных, хоть отбавляй. Дверь, незапертая, поджидает меня. Повинуясь, однако, то ли предосторожности, то ли правилам приличия, я, перед тем как зайти, непременно стучусь...

— Да, прошу, забыл закрыть, — раздалось изнутри, но, едва он распахнул дверь и увидел меня, его речь замедлилась, как прежде замедлялись шаги, когда он шел по лестнице: — Вы... как вы, собственно... откуда...

— Оттуда, — я напорист, нетерпелив, мне хочется быстрее перейти к сути дела. — Где вас носило целый год?

— С какой стати я стану вам объяснять? — он уже отошел от шока, вызванного моим внезапным появлением, и готов дать решительный отпор, не понимая, что ни спорить, ни тем более конфликтовать я не собираюсь. Не ради выяснения отношений я шел за ним следом и не ради того, чтобы вновь очутиться в этой полузабытой квартире. Хотя кое-что все-таки осталось в памяти...

Стоячая вешалка, куда я бросал любимую в то время кепку, и она, на лету зацепившись за деревянный крючок, раскачивалась, словно бы по-дружески здороваясь с квартирой. Или стул, который, наоборот, был настроен недобро: я всегда его задевал, казалось, из-за спешки, но после ты сказала, что здесь любит сидеть Панченко, и у меня возникла странная мысль, будто от профессора стулу передается враждебное ко мне отношение. Вообще, прихожая была просторной — в отличие от спальни, не то чтобы маленькой, но чересчур заставленной мебелью. Для чего, например, держать там, где отдыхаешь, даже если ты любитель работать по дереву, верстак с набором токарных инструментов?.. А вот еще вопрос: Евгений Аркадьевич, с какой целью вам понадобился возле кровати бар, где за стеклом стояло не меньше двух дюжин разноцветных бутылок, притом что в университете все знали вашу неприязнь к алкоголю? Украшением же спальни, конечно, был эркер. Правда, и тут вы впечатление подпортили, наполовину за-

бив пространство хламом. Извините, что я так называю печатные издания, но другого слова не приходит на ум, чтобы обозначить все эти мятые газеты, вырезки из журналов, книги с трепаными корешками, книги, разорванные на части... Когда я впервые там оказался, то в голове мелькнуло: балконы интеллигента и обывателя во многом схожи, отличаясь лишь тем, что один тащит туда старый холодильник и лыжи, тогда как другой, так сказать, отрыжку печатного слова...

— Вы заблуждаетесь насчет того, зачем я сюда пришел, — начал я, однако он сразу перебил:

— Вы всегда приходили в мою квартиру с определенной целью. Но сегодня у вас не получится так же легко уйти, как удавалось прежде.

Его слова, его поза — чуть отставив ногу назад, а рукой отбивая ритм речи, — словно бы перенесли меня в зал провинциального театра, на подмостках которого старательный актер примерял не по размеру большую роль. Я же хотел естественности, хотел простого и честного разговора.

— Давайте не будем превращать квартиру в театральную сцену. Во всяком случае я пришел сюда не спектакль смотреть.

— На что же вы тогда претендуете?

— На чашку чая и беседу. Согласитесь, скромное желание.

На некоторое время он смолк, чтобы затем начать как-то суетиться лицом, впустую махать руками, повторяя с бессмысленностью:

— Чай, чай, конечно, чай, конечно... А как иначе?.. Чай, сейчас будет чай...

Прихожую он пересек в три широких шага, после чего, а я внимательно за ним наблюдал, быстрым движением цапнул с этажерки принесенную андрогином склянку. Теперь я знал не только о перспективе быть отравленным, но даже о выбранном для этого способе, что одновременно и успокаивало, и приближало меня к цели, которая по-прежнему была важнее любых преград на ее пути.

Хоть он и был профессор, но явно не по части умерщвления людей. На кухне у него долго не ладилось, и оттуда все время доносились разные звуки: то гремела какая-то крышка, то мелко позвякивала ложечка в стакане, то что-то с шумом падало, и следом громко чертыхался Панченко. Мне представлялась картина мечущегося в растерянности старого и полного человека, который в силу своей природы и теперешнего пребывания там, где земные навыки за ненадобностью забываются, был не в состоянии, имея все необходимые компоненты, приготовить простейший яд. Да, Евгений Аркадьевич, убить себе подобного это не лекции студентам читать!

Он появился с бегавшими глазами, испачканной чем-то желтым щекой, держа на вытянутых руках поднос с двумя чашками чая, сахарницей и печеньем на тарелке.

— А если перепутаете? — спросил я игривым тоном.

— Что? — он едва не опустил руки вместе с посудой.

— Чашки, — вежливо пояснил я.

— Бросьте этот тон, — профессор поставил поднос, снова чуть его не уронив, на журнальный столик, единственно легкую вещь среди его громоздкой мебели. Усевшись в кресло за этот же столик и жестом показав мне на противоположное кресло-близнец, Панченко с тихой досадой произнес:

— Я собирался вас искать, а тут, понимаете, вы сами...

— Я тоже искал ваши следы и теперь думаю, как мне повезло, что нашел вас первым. Иначе... — я с выражением покосился глазами на посуду. — Вы лучше меня знаете, чем бы закончилось дело.

Профессор ничего не ответил, но я видел: он понял, он догадался, что мне известно о его планах.

Выпив залпом чай, по-моему, еще горячий, чтобы делать это с таким безрассудством, он уставился на дно пустой чашки, продолжая держать ее в руке, и заговорил так, будто к ней и обращался:

— Да, я мечтал избавиться от вас. Ах, как я об этом мечтал! — и вправду, его глаза, когда

он их поднял, сделались глазами романтически настроенного убийцы, правда, этот убийца, что редко с ними случается, в последний момент сумел повернуть назад: — Но, черт возьми, я не могу, не могу!

Жалеть того, кто не способен тебя отравить и сам жалеет об этом, верх глупости. Мне, однако, было его жаль.

— Убить человека непросто, если, конечно, ты не душегуб от рождения, — прорвался наружу мой внутренний голос.

— Но ты заслужил, ты достоин смерти! — неожиданно перейдя на вольное обращение, выкрикнул он и сразу потух — в точности так, как, выплеснув эмоции, обыкновенно делаются слабыми многие интеллигенты.

— У меня не получилось, — в доказательство сказанного он сделал глоток из моей чашки. — Как видите, безопасно.

— Но не скажешь, что гигиенично, — проворчал я и вдруг замер, потому что воображение нарисовало моментальную картину: несколько секунд — и Панченко, схватившись за горло, падает на пол, делает последние судорожные движения и навсегда затихает.

Отгоняя от себя болезненное видение, я исподволь наблюдал за ним, надеясь, конечно, что у него хватило благоразумия не делать глупостей. Он сидел, живой и здоровый (насколько это вязалось с его потусторонней сущностью), даже, казалось, сделался спокойнее. Из вежливости я пригубил чай и, повинуясь обыкновенной последовательности действий, поблагодарил хозяина, правда, тут же осекся из-за этого «спасибо», сказанного своему потенциальному убийце.

— Вы хотели сравнять наше положение по отношению к небесам, не так ли? — злорадно спросил я, на что он огрызнулся:

— У меня есть основания.

— Ах, основания!.. И вам совсем неинтересно, для чего я отправился на ваши поиски?

— После всего того...

— Что ж вы остановились? — ободрил я, и он начал обличающим тоном:

— Вы обманывали меня. Из-за этого, как выяснилось, надо мной потешалось университета. Надо мной — профессором, доктором наук!

— Без пяти минут академиком, — выскочило у меня ненароком, после чего он бросил в мою сторону злой взгляд, а я спросил, стараясь выглядеть равнодушным: — И это все?

— Нет, молодой человек...

Его бьющие наотмашь слова, его пылкие жесты, горящее гневом лицо, его собачьи складки на щеках, которые неожиданно сделались ровными, точно у младенца... С него можно было писать картину «Ангел спустился на землю, чтобы покарать грешника». Он говорил, что жена изменяла со мной, что я совратил Катю, что она чистое и наивное существо, чем я воспользовался в своих грязных целях. Разумеется, все это было далеко от истины. Возразил, правда, я лишь на одно.

— Мы собирались пожениться, — ответил он торопливо, словно боялся, что, вступив в спор, явно проиграет, ведь на моей стороне были неопровержимые доказательства...

Тот разговор с Катей, когда она неожиданно передо мной открылась, случился в профессорском кабинете, куда, вообще-то, мы не имели привычки заходить. Почему зашли тогда, точно не помню, а только вижу себя вышагивающим вдоль шкафов с книгами. Многие из них мне знакомы, так что я внутренне им улыбаюсь, например, сборнику статей «Вокруг Достоевского» под редакцией Бема или лотмановскому «Пушкину»; другие книги затерялись в закоулках памяти, хотя они, все до единой, принадлежат к одному обширному племени. Давно и не мною замечено: изучающие язык читают преимущественно специальную литературу, тогда как сами произведения интересны им лишь постольку, поскольку отвечают их научной тематике. Панченко один из многих, в чьей библиотеке на один художественный текст приходится с десяток филологических.

Я высказываю вслух свою не слишком оригинальную мысль, и Катя внезапно отвечает коротким смехом, заканчивая лаконично:

— Как верно ты подметил.

Она, повернувшись ко мне спиной, сидит за массивным дубовым столом. Поверх столеш-

ницы — стекло, под которым, помимо прочих бумаг, автограф Пушкина — так утверждает профессор. Почему, Евгений Аркадьевич, вы храните раритет столь беспечно, без всякого почтения к классику? И вообще, откуда у вас автограф, Евгений Аркадьевич?.. Не дает ответа. Не дает и не давал, даже когда Катя спрашивала. Так мы и не узнали, чья это прелестная женская головка, убранная сзади в изящный пучок, что за усач с нею рядом, из какой конюшни пара гнедых и вороная, а главное, где и когда написаны эти вымаранные поэтом, но все же различимые строчки, ведь ничего подобного нет ни в одном известном пушкинском стихе... Или все-таки — подмена, подлог, ошибка филолога, желание сделать себе имя за счет другого — гения в легкой крылатке? Выбирайте, Евгений Аркадьевич, на свой вкус!..

Продолжая изучать корешки книг, я вдруг натыкаюсь на снимок — на третьей сверху полке, у самого края. Профессор с Катей позируют неведомому фотографу, изобразившему их на Невской набережной.

— Узнаю место, — я снимаю фотографию с полки. — Это перед ректорским корпусом. А кто снимал?

— Какая разница, — обернувшись, Катя смотрит на меня, в то время как я про себя читаю написанное с обратной стороны снимка.

— Ты зачем? — спрашивает она, впрочем, без всякого раздражения, напротив, с ноткой игривого лукавства, словно бы хочет продолжения разговора.

— И когда же ждать столь радостного события? — слышу в собственном голосе злость, ибо среди прочего мелькнуло «накануне свадьбы», написанное, без сомнения, рукой Панченко, где «а» как будто худеет, наподобие обычной черточки, в то время как с «о» происходит обратное превращение в приземистую толстушку. Такие же черточки и толстушки мне не раз попадались в его рукописных статьях, которые он с беспечностью оставлял раскрытыми на кафедре, причем не только за своим столом, но и за обеденным.

А еще я злюсь на Панченко просто потому, что люблю Катю.

— Разве ты этого ждешь? — она встает и, подойдя ко мне, обнимает сзади за шею.

— Сейчас порву, — угрожаю я, держа в руках снимок и будто бы собираясь сделать резкое движение.

— Ну, хватит, хватит, — она забирает фотографию и ставит ее на место. — Что он хочет, то и пишет. Как я могу запретить? — она выдерживает паузу, а после произносит медленным голосом: — Но скоро придется сказать, очень аккуратно, а то ведь два инфаркта, ты же понимаешь...

— И какой у тебя план?

Она делает задумчивое лицо, вероятно, стараясь представить картину происходящего:

— Идем мы, допустим, по той же Невской набережной. И вдруг у меня подворачивается нога. Распространенный случай. С каждым бывает. Но что происходит дальше?.. Конечно, боль, конечно, его желание помочь, сочувствие и, в конце концов, такое понятное, русское, которое он часто употребляет: «До свадьбы заживет». И тут я заявляю, что раз ты сам начал, то знай, что свадьбы у нас не будет, что, как бы я хорошо к тебе ни относилась, прежних чувств уже нет, что я полюбила другого, да все не решалась признаться, теперь же говорю открыто, чтобы избавить тебя от иллюзий, чтобы ты не мучился, не гадал, ведь этого все равно не скроешь...

Впрочем, я напутал, сбился, перемешал события. Одна картинка наложилась на другую, и в результате мы с Панченко поменялись ролями. Ведь это я был с Катей, когда все началось с безобидного «до свадьбы заживет». Единственно, мы шли не по набережной, а по аллее Румянцевского сада. А как было у вас, Евгений Аркадьевич, могу лишь догадываться. Не сочтете ли за труд сами рассказать?..

— Не ваше дело, — ответил он, по-прежнему рассерженный.

— Мое, дорогой Евгений Аркадьевич. Вы пришли за моей душой, так хотя бы позвольте ее открыть.

— Открывайте, — пробурчал он и отвернулся, показывая, что слушать ему крайне неприятно.

Ничего, кроме извинений, у меня не было. А с другой стороны, это же так много! И я долго каялся, искренне и с жаром, и даже мысленно держал перед собой Катин образ, выражение ее лица, когда она говорила, будто делает благо, признаваясь и тем самым избавляя меня от мучений, между тем как эти мучения только начинались...

— Кто он? — вопрос Панченко прозвучал отрывисто и в то же время с жгучим интересом.

— Вы его знаете, — я назвал имя чиновника из правительства города, который курировал высшую школу.

— Что ж, одобряю выбор, — произнес он с горькой иронией, и я поддержал его интонацию:

— Думаю, движение вверх на этом не закончится.

Мы замолчали, и я чувствовал, как, слегка улыбаясь, перевожу взгляд с рисунка обоев, где то собирались вместе, то разлетались в стороны листья самой разнообразной формы, — перевожу взгляд на другую картинку — узор из морщин на застывшем в невыразимой задумчивости лице Панченко. В эту минуту он был мне очень приятен. И почему-то вспомнилась его любимая пушкинская цитата, и не казалась она теперь ни вздором, ни звенящей пустотой. Ведь получалось, что сказал-то поэт про нас. Выяснили, кто прав, кто виноват, и оба наказаны, и тянемся друг к другу, поскольку, что бы нас ни разделяло прежде, мы все-таки из одной команды брошенных и несчастных. А они, Катюши, чиновники на теплых местах, коллекционеры, что прикрепляют к Пушкину бирку с ценой, они вечно на страже собственного благополучия, будь то должности, деньги, предметы искусства. Временами, правда, их прибивает к чужому берегу (какая ошибка, Катя!), но это случайно, ненадолго, преходяще...

Наше длительное молчание завершилось его глубокомысленным «да», как бы подводя итог беседе. Но я не мог расстаться, не задав главного вопроса.

— Вы меня прощаете?

Вместо ответа профессор, пожевав губами, пригласил пройти в кабинет. Там он сел за стол, исследовал его поверхность, затем ящики и вдруг снова сделался сердитым.

— Я завещал квартиру племяннику. Завещал при условии, что он сохранит раритеты, а после передаст в Пушкинский дом.

— Вы о чем, Евгений Аркадьевич?

— О том, что вы остались без награды, — он пальцами отбил дробь по столу, и я только сейчас обратил внимание, какая мертвецки бледная, вся в складках, у него кожа. — Здесь был автограф Пушкина, — пояснил он, — выходит, племянник не сдержал слово.

— Как, вы разве не знаете? — сначала я удивился, но тотчас вспомнил, откуда появился профессор. — После вашей смерти наша общая знакомая забрала из квартиры все маломальски ценное.

Признаться, я помогал ей в этом, совсем не задумываясь ни о племяннике, которого знать не знал, ни о самих предметах, ни о последствиях. Ведь я любил Катю, что с лихвой объясняет любой мой поступок, пусть даже самый крамольный. Затем, пока не объявился наследник, мы вместе, что в филологической среде было не так уж сложно, находили покупателей то на дореволюционное издание Маяковского, то на перьевую ручку с гравировкой поздравления в честь юбилея Пастернака. Редкие вещи, безусловно. Однако для автографа Пушкина требовался человек особый, коллекционер со средствами. Через знакомых я нашел такого — Илью Григорьевича, и он, с первого взгляда оценив художественную ценность увиденного, но все-таки забрав автограф на экспертизу, спустя несколько дней назначил встречу и, помнится, все извинялся, что у него только наличные. На деньги от продажи собрания Панченко можно было... Да что угодно, но Катя выбрала дачу с участком на берегу Финского залива. А уже вскоре я был сначала забыт, когда в течение недели она не подходила к телефону, а потом и вовсе отставлен, как выяснилось позже, ради чиновника с неограниченными возможностями. Ревнивый и готовый к решительному поступку, я доби-

вался встречи с Катей, но она взяла отпуск, после чего мое внимание переключилось на чиновника, так что я даже записался к нему на прием. Да, Евгений Аркадьевич, на прием, заранее, правда, не определив, что скажу, лишь подогревая себя эмоциями. Видимо, предупрежденный Катей, он меня не принял... Постойте, профессор, зачем вы включили музыку?! Эту дурацкую молодежную музыку, под которую только гвозди заколачивать. У нас все же важный разговор... Евгений Аркадьевич, дорогой, вы меня слышите?..

Я снова вернулся к нему взглядом, оторвавшись от рисунка обоев, где нарисованные листья сделались подозрительно похожими на живые, и теперь можно было различать, что эти принадлежат темневшему рядом дубу, а те — стоявшей чуть в стороне легкомысленно раскидистой липе. Сквозь их молодую листву проникал переменчивый свет, каким он бывает даже при легком ветре.

Пока я пытался понять, стоит ли верить произошедшей перемене, мимо меня прошли двое подростков, вернее, с нарочитой небрежностью прошаркали по гравию. То и дело они поддавали кроссовками камни, выбирая из тех, что покрупнее и больше весом. Когда один из камней, неожиданно подпрыгнув, врезался мне в ногу чуть ниже колена, я почувствовал мгновенную боль. И тут же все вокруг сделалось настоящим: деревья Румянцевского сада; игра светотени на стволах, дорожках, на лицах прохожих; музыка — бум-бум-бум, — что стучала из мобильника одного из парней, тогда как другой интеллигентно, через наушники, вливал в себя наверняка нечто подобное. А главное, настоящим оказался пожилой человек в том же шерстяном пальто, в котором он появился из троллейбуса, единственно, сбежавший от жаркого солнца в легкую тень на соседней скамейке.

На меня он даже не взглянул. Опершись руками о сиденье скамьи, он медленно поднял крупное тело и сделал первый пробный шаг, и осмотрелся по сторонам, и лишь тогда заодно с прочим он меня заметил, не давая, однако, предпочтения ни перед малышом, тянувшим за веревку игрушечный автомобиль с полным равнодушием к тому, что тот перевернулся и барахтается по гравию, ни перед сидевшей на скамейке старушкой, возле ног которой отирались голуби, по привычке выклянчивая взамен съеденных новые хлебные крошки, несмотря на то, что их кормилица уже дремала.

Этот человек, незнакомый, но действительно похожий на Евгения Аркадьевича, прошествовал мимо меня. Я не мог оторвать от него взгляда. Сколько уже делал я попыток и в Румянцевском саду, и в других местах поговорить с профессором, да хоть с его тенью, с его подобием, и всякий раз у меня это не получалось. Зачастую из выбранных мною персонажей было куда сподручнее вылепить образ покойного, чем из этого увальня в вязаной шапке, однако все они не выдерживали проверку временем. Лучшим удавалось не сфальшивить с четверть часа, остальных мое воображение удерживало две-три минуты. Один, помнится, был податлив, как глина, столько подавал надежд, казался победителем на конкурсе подражания, однако испортил все дело, когда от чрезмерной общительности, что ли, подсел ко мне и начал рассказывать на его взгляд пресмешную историю, как однажды его приняли за какого-то профессора, а он сначала в шутку стал подыгрывать, после чего... Недослушав, возмущенный такой бестактностью (кто мог ему насплетничать?), я встал и, прежде чем уйти, сказал что-то нарочито резкое.

И как же я теперь был благодарен (пусть он остается Евгением Аркадьевичем!), благодарен Евгению Аркадьевичу за то, что он довел свою партию до конца, что наконец-то я высказался и, надеюсь, хотя бы отчасти отмолил грехи.

Между тем Евгений Аркадьевич удалялся к остановке транспорта, откуда он давеча появился, а я все продолжал его благодарить, словно в церкви перед иконой, пока вдруг змеею не заползла в меня странная и, в сущности, вздорная мыслишка, но по ее признакам я уж знал, что не отпустит, будет держать до последнего.

Промучился я долго, отмеряя как будто на весах: можно или нельзя, можно или нельзя... А полностью вопрос звучал следующим образом: вероятно ли с такой легкостью и настолько убедительно обернуться Панченко, если ты кто-то другой?

Додумывать пришлось уже на бегу: с одной стороны, догоню и еще раз пойму, что ошибка; с другой, почему бы не одарить человека улыбкой или парой теплых слов за его, пусть и случайную, помощь; ну а с третьей стороны, способен ведь пожилой мужчина с неизвестной биографией вновь превратиться в доктора филологических наук. И хотя последнее было наименее вероятным, именно в этом мне удалось себя убедить. Мало того, я обрывками фраз набросал несбывшийся разговор с коллекционером, чтобы автограф поэта, пусть лишь в моем воображении, очутился там, где завещал Панченко.

Два увальня — медлительный, переваливавшийся с боку на бок троллейбус и профессор, почуявший в себе весну, с перекинутым через руку пальто — встретились раньше, чем я успел добежать. И вот двери-гармошки со скрипом закрылись, брызнула от троллейбусных усов искра, с тихим шипением прокатились шины по луже у поребрика... Сквозь заднее стекло я видел, как Панченко в своей неспешной манере оплачивает проезд и затем садится возле окна. Он уезжал от меня, прощенного, но неоправданного, в свою потустороннюю бесконечность, откуда столь внезапно явился, и уезжал, насколько могу судить, окончательно, навеки.

Дмитрий Михайлович ТАРАСОВ

родился в марте 1965 года в Ленинграде. Работал инженером, экскурсоводом, журналистом, сейчас — редактор в телекомпании «Петербургское телевидение». Публиковался в журналах «Нева», «Звезда», «Москва», «Новая Юность», «Север», «Сибирские огни», «Нижний Новгород» и других. Рассказы переводились на сербский язык. Автор трех книг прозы: романы «Пятый Собор» и «Сергей Павлович Королев, который работает консьержем», сборник рассказов «Считая до ста». Член Союза писателей России с 2011 года.